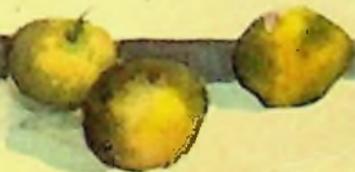


Р1  
Б91



И. А. БУНИН  
**РАССКАЗЫ**



ВЕРНУТЬ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ  
обозначенного здесь срока

10		
10		
10		
10		

5-91 226586.  
БУНИН  
Рассказы.  
1976

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗ  
обозначенного здесь срока

4870		

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕРИЯ



И. А. БУНИН

# РАССКАЗЫ

НА 13.1.197

326586

Текст печатается по изданию:  
И. А. Буни. Собрание сочинений в 9-ти томах, 3,4,5 и 7 тт.

*Вступительная статья и примечания*  
*А. Саакянц*

*Иллюстрации художника*  
*Н. Воробьева*

© Издательство «Художественная литература», 1976 г.  
Вступительная статья и примечания.

Б  $\frac{70301-059}{028(01)-76}$  17-76

ро)  
пр  
лем  
суд  
нен:  
I  
семь  
ниче  
хуто;  
конц  
рес  
натур  
ния»,  
уклад  
ливо  
время  
Льва I  
ном см  
на, а т  
в бескс

## О РАССКАЗАХ ИВАНА БУНИНА

От жизни человечества, от веков, поколений остается на земле только высокое, доброе и прекрасное, только это.

*И. А. Бунин*

Иван Алексеевич Бунин прожил долгую жизнь: родился он в 1870 году, умер в 1953-м; его творчество продолжалось более шестидесяти лет. Он был свидетелем трех русских революций и двух мировых войн; судьба его сложилась неровно и непросто, была наполнена драматическими событиями.

Происходил Бунин из обедневшей дворянской семьи, детство провел в полуразорившемся имении, в котором не отличавшемся от других мелкопоместных усадеб, в тесном общении с деревней. Поэтому до конца жизни у Бунина остался прочный и живой интеллект русского крестьянина; его всегда занимала судьба русского человека, ее «своеобразные сплетения» — ее светлые и темные стороны, а также быт и нравы русской деревни, знанием которой он справедливо гордился. В юности узнал Бунин нужду; одно из его желаний — он хотел «опроститься», под влиянием учения Толстого, которого боготворил. Дома, в буквальном смысле, он никогда не знал. Вся молодость Бунина — а также значительная часть зрелой жизни — прошла в бесконечных переездах из города в город, из гости-

ницы в гостиницу, 1907—1913 годы — в путешествиях: на Ближний Восток, на Цейлон, на Капри. Отсюда его шутовское признание в том, что он ничем никогда не владел, кроме чемодана.

В молодые годы Бунина связывала нежная дружба с А. П. Чеховым<sup>1</sup>, с Н. Д. Телешовым, на чьих литературных «Средах» он был желанным гостем. Он участвовал в возглавляемом М. Горьким издательстве «Знание»; в пору расцвета своего таланта сблизился с Горьким, который был восхищен его повестью «Деревня». Под впечатлением бесед и споров с Горьким об «этой самой Руси и ее истории», нужно думать, родились сильнейшие рассказы Бунина о людях из народа.

Первая мировая война потрясла Бунина; от имени деятелей русской культуры он написал страстное анти-милитаристское воззвание. «Как некогда, снова гибнут в пожарищах драгоценные создания искусства, храмы и книгохранилища, сметаются с лица земли целые города и селения, кровью текут реки, по грудам трупов шагают одичавшие люди», — говорилось в нем. Затянувшаяся война ввергла Бунина в беспросветный пессимизм. «Поистине проклятое время наступило», — считал он, ясно ощущая приближение катастрофы, «конца света», ибо не видел выхода из того глубокого кризиса, в котором находилась страна по вине бездарных властей. «Народ войны не хочет, он свирепеет с каждым днем», — говорил он в 1916 году.

Февральская революция усугубила настроения Бунина; Керенский, по его мнению, — «одна из самых вредных фигур, — и направо, и налево... Российская телега совершенно разваливается».

Октябрьская революция, которую Бунин встретил враждебно, окончательно утвердила его в мысли о

---

<sup>1</sup> Воспоминания Бунина о Чехове являют собою лучшие страницы русской мемуаристики.

«конце» России. Этим писатель разительно противоречил таким своим произведениям, как «Деревня», «Захар Воробьев», «Старуха» и другим, где с огромной художественной силой показывал, что дальше Россия оставаться в таком бедственном положении не может, что перемены неизбежны. Когда же все в России «переворотилось», Бунин не только ни на минуту не сочувствовал происходящему, но, предав все анафеме, навсегда покинул родину и сделался добровольным изгнанником.

Он жестоко наказал себя полным одиночеством, отсутствием читателей и нестерпимой тоской по родине... «Талант талантом, а все-таки «всякая сосна своему бору шумит». А где мой бор? С кем и кому мне шуметь?» — эти слова написаны Буниным в первые годы жизни вне родины. На чужбине он так навсегда и остался одиноким, обособленным, чуждым по духу русскому зарубежью. О том же, чтобы писать на другом языке, он и не помышлял, будучи убежден, что владеть в одинаковом совершенстве двумя языками, во всех оттенках и мелочах, человек просто не может.

Среди строк, написанных Буниным в тяжелые для него дни, есть и горькие, несправедливые, исполненные отчаяния и злобы. Но таких строк немного, и не они составляют его славу. Самым важным для себя Бунин считал служение искусству, в котором он не оставлял места случайному, преходящему, продиктованному мгновенной вспышкой гнева и раздражения. Все свои силы писатель отдал русской литературе, драгоценнейшими чертами которой справедливо считал «глубину, серьезность, простоту, непосредственность, благородство, прямоту». Эти черты были свойственны и творчеству Бунина. Воспитанный в первую очередь на Пушкине, который «вошел в него» почти с младенчества, Бунин органично и прочно усвоил, впитал в себя лучшие традиции великой русской литерату-

ры — Пушкина, Лермонтова, Л. Толстого, Чехова; лишь Достоевского он почти не воспринимал. Но, сделав духовное богатство русских классиков как бы частью своего «я», Бунин, как всякий большой талант, остался свободным от непосредственного, в буквальном смысле слова, влияния «великих». Его творчество — верность, преемственность, продолжение традиций, но никогда — не подражание. Бунинское слово никогда не звучит с чужого голоса; его невозможно спутать ни с чьим другим, потому что на каждом его произведении — печать его личности, единственной и неповторимой.

Главное свойство личности Бунина (а значит, и его художественного дара) нельзя, пожалуй, назвать иначе, как *обостренным* мироощущением, тончайшим и острейшим чувством жизни. Бунин обладал какою-то первородной, «нутряной» любовью к земле, повышенной способностью чувствовать природу, физически ощущать себя крупницей ее, частью единого мирового целого, бесконечного во времени и пространстве. «Жизнь моя, — писал он, — трепетное и радостное причащение вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною». Бунинская сверхчувствительность ко всему *земному* проявлялась и в его впечатлительности, в премеичности настроений, в необычайной наблюдательности, в артистическом даре изображать людей, интуитивно, с первого взгляда схватив главное в человеке. И еще постоянно жило в нем некое смутное стремление проникнуть в тайны и загадки жизни, «*познать тоску всех стран и всех времен*». «Мне кажется, что я живу действительно тысячу лет... и не одну тысячу... — говорил Бунин. — Чувствую в себе всех своих предков. Бурлят, шумят они во мне — и дальше чувствую далекую глубь веков. Все корни мои, ушедшие в русскую почву, до малейшего корешка чув-

ствую... и дальше, дальше чувствую свою связь со «зверем», со «зверями», — и нюх у меня, и глаза, и слух — на все — не просто человеческий, а нутряной — «звериный». Поэтому «по-звериному» люблю я жизнь. Все проявления ее — связан я с ней, с природой, с землей, со всем, что в ней, под ней, над ней». И еще говорил: «Нет, мучительно для меня жить на свете! Все меня мучает своею прелестью!»

И с тою же силой, с какой был привязан к жизни, к земле, — ненавидел Бунин смерть, тлен, разрушение, которые приносят войны, социальные несправедливости, болезни (любая болезнь всегда была для него страданием). Бунин был врагом всего, что нарушало изначальную природную гармонию, в которую он неизбежно верил. Такое мироощущение и было поэтическим родником его творчества.

Многие современники не понимали главного свойства таланта и личности Бунина, его жизнелюбия, не улавливали в его прозе и стихах характерной светотени: радости бытия — и трагичности его потери, сложности ощущения того, что «все в мире прекрасно» — и «всего бесконечно жаль». У большинства критиков тех лет он прослыл писателем холодным, бесстрастным. Лишь немногим было дано его понять; поразительны в этом смысле слова далекой безвестной читательницы, написанные Бунину в 1902 году и хранимые им всю жизнь: «Несмотря на все горькие минуты, на разочарования и страдания, вы верите и в красоту, и в любовь, и в поэзию, которой полна наша жизнь, если только мы имеем дар ее видеть». Так было у Бунина и с людьми. Перед теми, кто не любил его (а интуицией на это он обладал безошибочной), он бывал наглухо застегнут («холодный, жестокий, самонадеянный барин»), перед понимавшими и любившими его, с А. П. Чехова начиная, — распахнут, добр, щедр, обаятелен, остроумен, — и редко отзвучив и мягок.

В. Н. Муромцева-Бунина вспоминает, что он был «необычайно нежен с теми, кого действительно любил, и еще с детьми. Кто его не знал до конца, тот и представить себе не может, на какую нежность была способна его душа». Но Бунин, в силу страстности, а порою и пристрастности своей природы, мог быть и гневным, и нетерпимым. Как ненавидел он, например, всякое словесное фиглярство, псевдонародные, модернистские и иные ухищрения. Тех, кто не мог или не хотел писать, с его точки зрения, «нормально», он считал душевнобольными и относился к ним с брезгливой антипатией, — причем мог быть и несправедливым, и крайне субъективным. Но таково уже было свойство личности Бунина, чья бескомпромиссность порою обращивалась в нетерпимость. Зато как радовался Бунин и как умел он найти страстные слова похвалы, если талант художника отвечал его, бунинским, литературным меркам. Так, уже глубоким стариком, в 1947 году, он горячо откликнулся на поэму А. Твардовского «Василий Теркин»: «... какая свобода, какая чудесная удаля... какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!..»

Со свойственной ему категоричностью и крайностью делил Бунин писателей на «рассказчиков», стремящихся развлечь читателя занимательными историями, и истинных художников, чье творчество является собою «песню человеческой души». Конечно, с таким непререкаемым и прямолинейным суждением трудно согласиться; однако оно помогает понять природу таланта самого Бунина. С самых ранних лет, с детских записей и первых робких стихов о природе, стремился он «в слове и хотя бы в малой доле запечатлеть свою жизнь». «И вот первое, что должен я засвидетельствовать о своей жизни,— пишет он, находясь в расцвете

сил и таланта, — это нерасторжимо связанную с ней и полную глубокого значения потребность выразить и продлить себя на земле». И всю жизнь утверждал Бунин, что он — более поэт, нежели прозаик, что он — *главным образом поэт*. Бунин действительно был прекрасным русским поэтом, автором изумительных лирических стихотворений, а также знаменитого перевода «Песни о Гайавате» Лонгфелло. Но дело, разумеется, не в том, что у Бунина совершеннее: проза или стихи. Проза Бунина, как и поэзия его, — *песнь его души*, она всегда эмоциональна и лирична; о чем бы и о ком он ни говорил, он говорил всегда «из самого себя». Бунин может описывать старую помещичью усадьбу с осенними охотами и ядреной антоновкой или с нежностью рассказывать об испугавшемся во сне маленьком Коле, которого утешает стареющий человек, слишком поздно понявший, как прекрасна жизнь («Снежный бык»). Или создать поэтичнейший образ слепого лирника Родиона, «вся жизнь которого была мечтой и песней». И всюду будет властно ощущаться личность автора, его взгляд на мир — и та гармония, к которой взывает писатель каждым своим словом.

В единстве «вечного удивления» и «вечного восхищения» жизнью, которая одновременно и прекрасна, и загадочна, и страшна, живет и умирает капитан, когда-то сильный, уверенный в себе человек, на всю жизнь раненный безнадежной любовью к женщине, прелестной и бессердечной («Сны Чанга»). Любовь — одна из самых прекрасных и неразрешимых загадок на земле; как само мироздание без начала и конца, которых человеку постичь не дано, непостижима и она. Без памяти любивший свою горничную Лушку помещик Хвоцинский после ее смерти больше двадцати лет просидел на ее кровати, никуда не показываясь и перечитывая старинные книги о любовном искусстве: «Сумасшедший

или просто какая-то ошеломленная, вся на одном сосредоточенная душа?» («Грамматика любви»).

Прекрасна жизнь; волшебна природа; казалось бы, на земле должны рождаться только такие прекрасные, не ведающие зла существа, как слепой лирик Родион, дарящий радость всем вокруг... Но вот живут на ней сумрачные и тупые мужики, вроде Авдея Заботы, который благословляет судьбу за то, что она не послала ему ни единого события в жизни. Он ли сам виноват в том, что так уродливо текут его дни, или, может быть, повинны в том уродства российской жизни? А нелепейшая гибель сильного, доброго и красивого человека — Захара Воробьева, проспоровившего свою жизнь глупым мужикам, — разве это не аномалия, не безумство русской действительности, которая не может более оставаться такой? Все эти вопросы звучат в рассказах Бунина, хоть и не задаются прямо. И дальше, за пределы России, выходят мысли и чувства писателя. Носит земля на себе племя неких безымянных, безликих и бездуховных «господ» — хищников с оболочкой цивилизованности, посвятивших жизнь наживе и порабощению слабых. Так и не успевшие за все годы задуматься над собственным бытием, под старость, однако, решают они наконец «приступить к жизни», в своем понимании, то есть купить за деньги те наслаждения, которые она может им предоставить. Вот обобщенный и беспощадный портрет этих развлекающихся «господ»: «Следы усталости, истомы от зноя, морской качки и болезней были на серых лицах шедших к отелю... но все шли один за другим... чтобы разойтись по своим комнатам, вымыться, ободриться, а потом, до красноты лица опьянив себя сдой, питьем, сигарами и кофе, покатить на рикшах на берег океана... к индусским храмам и буддийским вихарам» («Братья»). Но на что им индусские храмы или каприйские скалы? Осквернители

земли, поработители слабых, неспособные к человеческим чувствам — они расплачиваются за это ранней старостью, пресыщенностью, равнодушием. «Мы все,— коммерсанты, техники, военные, политики, колонизаторы,— мы все, спасаясь от собственной тупости и пустоты, бродим по всему миру и силится восхищаться то горами и озерами Швейцарии, то нищетой Италии... и вот только здесь, на земле древнейшего человечества, в этом потерянном нами эдеме (на Цейлоне.— А. С.), который мы называем нашими колониями и жадно ограбляем, среди грязи, чумы, холеры, лихорадок и цветных людей, обращенных нами в скотов, только здесь чувствуем в некоторой мере жизнь, смерть, божество»,— так, устами англичанина в рассказе «Братья», клеймит Бунин сильных мира сего. И смерть их, должно быть, так же не возбудит ни в ком сочувствия, а лишь безглыбый страх, как смерть господина из Сан-Франциско... Бунин не удостоивает этих бездуховных безымянных статистов даже намеками на какое-либо подобие внутренней жизни. Зато он не жалеет красок на изображение мира внешнего, вещного, в котором живет это буржуазное общество. Он презрительно выписывает каждую мелочь, все эти, отмеренные щедрой рукою мира вещественного, порции паровой, отельной и прочей роскоши, являющие собою истинную жизнь в их понимании. Писатель рассказывает не о событиях жизни этих «господ», а страстно утверждает недостойность их жизни на земле. «Я с истинным страхом смотрел всегда на всякое благополучие,— писал Бунин,— приобретение которого и обладание которым поглощало человека, а излишество и обычная низость этого благополучия вызывали во мне ненависть...»

Своего апогея обличительный гнев Бунина достиг в маленьком рассказе «Старуха» (зима 1916 г.). Все «бунинское» как бы спрессовано и явлено в нем с

такую поэтической силой и страстностью, что даже если бы Бунин написал один лишь этот рассказ, его можно было бы причислить к классикам русской литературы. Всего на трех печатных страницах Бунин дал Россию зимы 1916 года. Идет кровопролитная мировая война, унесшая в могилу четверых сыновей безвестного уездного караульщика; в деревнях — голод и нищета; в столице же — «разливанное море веселия»: «цвет» искусства услаждает слух, зрение и нервы бездумной публики; в захолустном городишке пожилой учитель корпит над тщетою — отвлеченным теоретическим сочинением. И лишь одна жалкая, никому не нужная старуха, безутешно оплакивающая свою никчемную жизнь, оказывается, сама того не ведая, самым естественным существом в этом безумном мире, в котором нарушена гармония и здравый смысл. Сколько щемящего сострадания к безымянной старухе, как бы олицетворяющей для Бунина Россию, находящуюся, как он считал, на краю бездны, вложил писатель в этот рассказ! Он — как бы итог, последняя точка перед резким жизненным поворотом — разрывом с родиной.

В художественном творчестве, за исключением двух-трех малозначительных вещей, Бунин и не пытался изобразить перевернувшие Россию события, и в первую очередь Октябрьскую революцию, враждебным свидетелем которой он был. Искусство Бунина не вдохновлялось и тем, что окружало его за рубежом, — произведений на эту тему мы у него почти не найдем. Симпатии и чувства писателя становятся весьма избирательны. Творчество Бунина на чужбине питается родниками *любви и памяти*. «Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!.. В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и

нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого... Отдались, неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце...» («Роза Иерихона»).

В словах этих, написанных вскоре после того как писатель покинул Россию, — как бы обет и программа дальнейшего творчества, не иссякшего до последнего часа. Однако на чужбине Бунин уже не создает произведений столь обличительной силы, как в России. Многие остросоциальные проблемы, которые с такой силой звучали в его дореволюционных произведениях («Деревня», «Братья», «Господин из Сан-Франциско», «Старуха»), он теперь отодвигает от себя. Бунин вообще пытается отодвинуть от себя всякую историческую конкретность. Ибо, оставаясь врагом нового строя в России, он не приемлет и окружающей его эмигрантской действительности, стоит в стороне от кипения ее страстей, не примыкает ни к одной из ее группировок. Он сосредоточивается главным образом на философско-лирических размышлениях, начиная с маленьких зарисовок («Скараabei», «Надписи», «Книга») и кончая большими вещами — «Жизнь Арсеньева» и «Освобождение Толстого». Эти устремления, впрочем, не новы в его творчестве, — достаточно вспомнить «Антоновские яблоки», «Сны Чанга»...

В первые два года жизни вне родины Бунин пишет мало. По-прежнему ненавидя всякую дисгармонию, разрушение и тлен, он теперь в большей степени, чем в молодости, подвержен страху перед небытием, он — в плену мрачных размышлений о «суете сует» жизни, о том, что все в мире подлежит неумолимому уничтожению. Постепенно, однако, этот мрак все чаще и чаще прорезается зарницами природного бунинского жизнеутверждения и волею к творчеству. «Я жажду жить и живу не только своим настоящим, но и своей прошлой жизнью и тысячами чужих жизней, современным мне и

прошлым, всей историей всего человечества со всеми странами его. Я непрестанно жажду приобретать чужое и претворять его в себе», — утверждает писатель. В нем не оскудевает «нутряная» любовь ко всему живому, к «земной плоти»: «...без нее, без этой плоти, мне слишком жутко в этом мире» («Полуночная зарница»). В печальном лирическом этюде «Далекое» звучит страстная проповедь человечности, мечта о доброте людей друг к другу: «В сущности, все мы, в известный срок живущие на земле вместе и вместе испытывающие все земные радости и горести, видящие одно и то же небо, любящие и ненавидящие в конце концов одинаковое и все поголовно обреченные одной и той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, должны были бы питать друг к другу величайшую нежность, чувство до слез умиляющей близости и просто кричать должны были бы от страха и боли, когда судьба разлучает нас, всякий раз имея полную возможность превратить всякую нашу разлуку, даже десятиминутную, в вечную». В крохотном рассказе «Скарабей» Бунин, при виде древних египетских царских скарабеев, находит в себе силы преодолеть пессимизм и не горько усмехаться, а радоваться. Он радуется тому, что его сердце связано с «сердцем, остывшим несколько тысячелетий тому назад... которое в те легендарные дни так же твердо, как и в наши, отказывалось верить в смерть, а верило только в жизнь».

Смерть же Бунин ненавидел и не раз повторял, что не дастся ей, не хотел быть старым, не хотел сдаваться.

«Блаженные часы проходят, и надо, необходимо... хоть как-нибудь и хоть что-нибудь сохранить, то есть противопоставить смерти, отцветанию шиповника», — пишет он в рассказе «Надписи», вспоминая строки из стихотворения Н. П. Огарева «Обыкновенная повесть»:

«Кругом шиповник алый цвел...» А несколькими годами позже то же стихотворение послужило Бунину толчком к первому из рассказов, которые составили впоследствии самую любимую книгу его «Темные аллеи». Бунин вспоминает слова Л. Толстого, когда-то сказанные ему, юноше: «Счастья в жизни нет, есть только зарницы его, — цените их, живите ими». И он, русский художник, на пороге старости, в безвозвратном самоизгнании, прожив много лет вне родной почвы, собирает все силы, чтобы властью своего искусства оживить эти «зарницы» и противопоставить их надвигающемуся закату. Можно только подивиться той жизненной силе, которая не угасала в этом человеке. Властным пером художника он останавливает возникающие в его творческом сознании «прекрасные мгновения» и являет их в слове. Вот приходит ему на ум древняя легенда, «баллада» об удивительном волке, «зарезавшем» за грехи старого князя, — и рождается поэтичный рассказ, с чудесной речью главной героини, странницы Машеньки. Или оживает под его пером короткая любовь двух людей, разлученных смертью. Что было в жизни состарившейся, много перестрадавшей женщины? Да ничего, кроме этой «зарницы счастья», блеснувшей ей в один холодный осенний вечер («Холодная осень»).

Существовала ли в действительности эта женщина? Или странница Машенька? Или красавица Надежда, содержательница постоялой горницы под Тулой, чья судьба чем-то напоминает судьбу Катюши Масловой из «Воскресения» Л. Толстого? Нет, Бунин сам признавался, что все у него «как-то само собой сложилось, выдумалось» — и герои, и события. И если раньше, в России, черпая впечатления из окружающей действительности, Бунин иногда затруднялся в выдумке темы, то теперь, в эмиграции, вымысел все чаще приходит в его рассказы. «В молодости я очень огорчался слабо-

сти своей *выдумывать* темы рассказов, писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что часто начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику, сюжета не мог выдумать или выдумывал плохонький, — признавался Бунин в 1947 году. — А потом случилось нечто удивительное: воображение у меня стало развиваться «не по дням, а по часам», как говорится, выдумка стала необыкновенно легка, один бог знает, откуда она бралась, когда я брался за перо, очень, очень часто еще совсем не зная, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится (а он очень часто кончался, совершенно неожиданно для меня самого, каким-нибудь ловким выстрелом, какого я и не чаял).

При всем том проза позднего Бунина не только не утратила своего лирического начала, — наоборот, она стала еще более пронзительной, проникнутой чувством, «песнью души» писателя, как бы вобрав в себя все ненаписанные Буниным в эмиграции стихи. Россия всегда оставалась в художнике, чувство родины никогда не покидало его. Особенно сильно проявилось оно во время войны с гитлеровской Германией; Бунин не отходил от радио, чтобы узнать правду о продвижении советских войск; во время фашистской оккупации он, с риском для жизни, принимал в своем доме советских военнопленных... Не естественно ли, что именно в труднейшие для его родины годы с особенной силой всколыхнулось в Буине чувство России, и он вдохновенно писал рассказ за рассказом своей любимой книги «Темные аллеи», утверждая красоту и величие души русской женщины. Лишенный непосредственного притока русских впечатлений, Бунин как бы призывает на помощь фантазию, которая не разрушает, а, напротив, довершает, усиливает то, что рождено чувствами и памятью. Как в молодые, так и в зрелые, и в поздние годы самым важным для Бунина было, чтобы

«что-то» родилось в нем самом; без этого писать он не мог.

Трудно найти художника среди современников Бунина, который был бы так же придирчив и беспощаден к себе в творчестве, как он. Бунин работал до изнурения, редко оставался доволен собою и всегда старался уничтожить черновики, опасаясь, что после его смерти исследователи будут в них «копаться». Не вынося мысли о том, чтобы посторонний глаз увидел технику его работы, Бунин в то же время охотно приоткрывал завесу над некоторыми из тайн своего ремесла — «на поучение молодым», и не только молодым, писателям. «Как возникает во мне решение писать? Чаще всего совершенно неожиданно, — рассказывал он. — Эта тяга писать появляется у меня всегда из чувства какого-то волнения, грустного или радостного чувства, чаще всего оно связано с какой-нибудь развернувшейся передо мной картиной, с каким-то отдельным человеческим образом, с человеческим чувством... Это — самый начальный момент... Я часто приступаю к своей работе, не только не имея в голове готовой фабулы, но и как-то еще не обладая вполне пониманием ее окончательной цели. Только какой-то самый общий смысл брезжит мне, когда я приступаю к ней. Не готовая идея, а только самый общий смысл произведения владеет мною в этот начальный момент — лишь звук его, если можно так выразиться... Если этот изначальный звук не удастся взять правильно, то неизбежно или запутаешься и отложишь начатое, или просто отбросишь начатое, как негодное...»

После того как писателю удавалось уловить этот первый звук и настроить перо по невидимому камертону, начиналась пристальная, очень серьезная работа над вещью. «Нельзя творить, как каптца! поет. Надо строить. Если дом ~~строить~~ — нужен план, и каждый

кирпич к кирпичу подогнать и скрепить. Работать надо», — говорил Бунин.

Как уже было сказано, Бунин не терпел никаких «излишеств» и фальши в языке: ни новоизобретений, ни нарочитых просторечий, ни малейшей стилизации. На все подобные вещи у него был удивительный слух, так же как и на словесные штампы. «Декабрь «выдался» не совсем удачный», — читаем в «Господине из Сан-Франциско», — и кавычки в слове *выдался* подчеркивают иронию писателя к тем, из чьего лексикона он брезгливо добыл этот штамп. Употреблял он слова как будто бы самые обычные, простые, однако умел так сжато, выразительно, единственно возможно и без излишних художественных изощрений, сочетать их друг с другом (в этом-то и состояли главные «муки» творчества), что из самых рядовых, обыкновенных слов возникала магия, музыка бунинской прозы. Недаром сам писатель не отграничивал ее от стихов, — и там, и здесь была одна и та же музыкальность и ритмика, — все дело было лишь в силе напряжения того и другого.

«Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков» («Антоновские яблоки»).

«Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно ничего не выра-

жало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось...» («Лирник Родион»).

Читать Бунина надо медленно; его «густая», по выражению Чехова, проза проникает в читателя не сразу; «пробегать» ее глазами бессмысленно, ибо даже одно недочитанное, недочувствованное слово — потеря целой фразы. Предшествующий огромный труд художника требует истинно сотворческого труда читателя.

Отрыв от родины, отсутствие читателя, нужда, старость и болезни — все вместе подрывало, конечно, силы Бунина. Однако до последнего дня жизни (умер он восьмидесяти трех лет) сохранил писатель ясность ума, волю к творчеству, светлый взгляд на мир. «Вера в жизнь, в конечную победу добра, поклонение красоте никогда не оставляли его», — вспоминает современница, и слова ее удивительно перекликаются с приводимыми выше строками письма, написанными Бунину сорока годами раньше...

Зная, что жить ему осталось недолго, за год до смерти Бунин отыскал свой рассказ «Бернар», написанный еще в 1929 году, исправил его и сделал из него нечто вроде поэтического завещания. В каждого человека, по убеждению Бунина, вложен от рождения тот или иной талант и вместе с ним — «священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл».

Сам Бунин выполнил свой «священный» долг. От его жизни осталось его *высокое, доброе и прекрасное* искусство, которое влилось в большую классическую русскую литературу.

А. Саакянц

## АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

### I

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, — с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень ядреная»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок; запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта, — делать нечего! На слив-  
ные все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое  
квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада,  
голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки  
яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к боль-  
шому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш,  
около которого мещане обзавелись за лето целым  
хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут —  
особенно. В шалаше устроены постели, стоит одно-  
ствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке —  
посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, вся-  
кие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка.  
В полдень на ней варится великолепный кулеш с  
салом, вечером греется самовар, и по саду, между дере-  
вьями, расстилается длинной полосой голубоватый  
дым. В праздничные же дни около шалаша — целая  
ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные  
уборы. Толпятся бойкие девки-однотворки в красафа-  
нах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в  
своих красивых и грубых, дикарских костюмах, моло-  
дая старостиха, беременная, с широким сонным лицом  
и важная, как холмогорская корова. На голове ее  
«рога», — косы положены по бокам макушки и  
покрыты несколькими платками, так что голова  
кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками,  
стоят туго и крепко; безрукавка — плисовая, занавес-  
ка длинная, а понева — черно-лиловая с полосами  
кирпичного цвета и обложенная на подоле широким  
золотым «прозументом»...

— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней мещан-  
нин, покачивая голову. — Переводятся теперь  
такие...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коро-  
теньких порточках, с белыми раскрытыми головами,  
все подходят. Идут по двое, по трое, мелко пере-

бирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белест Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: гроыхая и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее... И вдруг начинает стихать, гложнуть, точно уходя в землю...

— А где у вас ружье, Николай?

— А вот возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет мещанин. — Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли...

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глущину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

## II

«Ядреная антоновка — к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился... Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце,

и не утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умыться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу — первый признак богатой деревни, — и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало: «Да, — вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» — или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебе годов, спрашиваю!

— А не знаю-с, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Как же-с, батюшка, — явственно помню.

— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, — виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, — все о чем-то думает. «О добре своем небось», — говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Понева — чуть не прошлого столетия, чуньки — покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, — «совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван, — отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под стариком были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелия, у Игната, у Дрона — избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, дума-

лось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, — так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, — очень недавно, — имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется, — так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видимые телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики, — совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домовитых — множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могикане дворо-

вого сословия — какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтором, а теперь возит ее к обедне, — зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своєю запущенностью, соловьями, горlinkами и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, — ветви лип обнимали его, — был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, — так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, — окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, — два старых больших крыльца с колоннами. На фронте их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тет-

В  
к  
а  
е  
х  
т  
ь  
с  
ь  
а  
й  
и  
ли

ли  
не  
о-  
те-  
на  
зя  
ю,  
сл  
ни

ка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки, — антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка», — а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, — крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой...

### III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни... Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого — помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живую сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере

над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро — и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со

ов  
к  
ы.  
за  
ые  
вах

оа-

нь-  
з с  
ль-  
па-  
ра-  
ной  
ги,  
ими

ли  
не  
го-  
че-  
на  
ьзя  
лю,

нел  
ни

стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худошав, но широкоплеч и строен, а лицом — красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубаше, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутиливо-важно декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца  
И звонкий рог за плечи перекинуть! —

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь лес загредел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и покатилося куда-то вдаль.



ров  
и, к  
ды.  
за  
тые  
рах

ра-

нь-  
а с  
ль-  
ша-  
ра-  
вой  
еги,  
ами

ь ли  
не  
ого-  
оче-  
на  
льзя  
лю,

нел  
и ни

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

«А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее нагддашь «киргиза» наперерез зверю, — по зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадешь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полуоткрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднее и темнее... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак... Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому...

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по несколько дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с покрасневшими лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зве-

ря, — и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевах, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и сды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза — вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, гденибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле занает ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то моленной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой моленной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случилось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди — целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги, — дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бума-

зов  
, к  
ды.  
за  
ые  
рах

ра-  
нь-  
а с  
ль-  
ша-  
ра-  
вой  
ети,  
ами

ли  
не  
ого-  
че-  
на  
ьзя  
лю,

нел  
ни

гой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»... И невольно увлечешься и самой книгой. Это — «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет сто тому назад иждивением какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения, — рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на просторном месте своего селения»... Потом наткнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: «Государи мои! Эразм сочинил в шестнадцатая столетии похвалу дурачеству (манерная пауза, — точка с запятой); вы же приказываете мне превознести пред вами разум...» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам... Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска...

Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мак и мечты... Мечты... Как часто продолжают оне токмо страдания зловещного!..» И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости молодых шалунов»,

дильная рука, Людмилы и Алины... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...

#### IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы,

ров  
д, к  
ды.  
, за  
тые  
рах

ира-

унь-  
на с  
оль-  
ша-  
кра-  
евой  
деги,  
бами

ь ли  
ь, не  
лого-  
юче-  
ы на  
ельзя  
елю,

мнел  
он ни

резко пахнувшей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синяя, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло илюдно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни... Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!

Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

— Отрыж! — медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги... Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизги-

вают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою... Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромаки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разматают ток, бегают с носилками, метлами.

— С богом! — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным всером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок...

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на

ров  
и, к  
ды.  
, за  
тые  
рах

дра-

унь-  
та с  
эль-  
ша-  
дра-  
евой  
теги,  
ями

ь ли  
не  
юго-  
юче-  
на  
льзя  
елю,

мнел  
н ни

последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара...

На сумерки буен ветер загулял,  
Широки мои ворота растворял, —

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

Широки мои ворота растворял,  
Белым снегом путь-дорогу заметал...

1900

## СНЕЖНЫЙ БЫК

В час ночи, зимней, деревенской, до кабинета доносится из дальних комнат жалобный детский плач. Дом, усадьба, село — все давно спит. Не спит только Хрущев. Он сидит читает, порою останавливает усталые глаза на огнях свечей: — Как все прекрасно! Даже этот голубой стеарин!

Огни, их золотисто-блестящие острия с прозрачными ярко-синими основаниями, слегка дрожат, — и слепит глянцеви́тый лист большой французской книги. Хрущев подносит к свече руку, — становятся прозрачными пальцы, розовеют края ладони. Он, как в детстве, засматривается на нежную, ярко-алую жидкость, которой светится и сквозит против огня его собственная жизнь.

Плач раздается громче, — жалобный, умоляющий.

Хрущев встает и идет в детскую. Он проходит темную гостиную, — чуть мерцают в ней подвески люстры, зеркало, — проходит темную диванную, темную залу, видит за окнами лунную ночь, ели палисадника и бледно-белые пласты, тяжело лежащие на их черно-зеленых, длинных и мохнатых лапах. Дверь в детскую открыта, лунный свет стоит там тончайшим дымом. В широкое окно без занавесок просто, мирно глядит снежный озаренный двор. Голубовато белеют детские постели. В одной спит Арсик. Спят на полу деревян-

ров  
и, к  
ды.  
и, за  
тые  
грах

ира-

унь-  
ла с  
оль-  
рша-  
мра-  
евой  
леги,  
бами

ть ли  
д, не  
пого-  
лоче-  
ы на  
ельзя  
делю,

емнел  
он ни

ные кони, спит на спине, закатив свои круглые стеклянные глаза беловолосая кукла, спят коробки, которые так заботливо собирает Коля. Он тоже спит, но во сне поднялся в своей постельке, сел и заплакал горько, беспомощно, — маленький, худенький, большеголовый...

— В чем дело, дорогой мой? — шепчет Хрущев, садясь на край постельки, вытирая платком личико ребенка и обнимая его щупленькое тельце, что так трогательно чувствуется сквозь рубашечку своими косточками, грудкой и бьющимся сердечком.

Он берет его на колени, покачивает, осторожно целует. Ребенок прижимается к нему, дергается от всхлипываний и понемногу затихает... Что это будит его вот уже третью ночь?

Луна заходит за легкую белую зыбь, лунный свет, бледнея, тает, меркнет — и через мгновение опять растет, ширится. Опять загораются подоконники, косые золотые квадраты на полу. Хрущев переводит взгляд с пола, с подоконника на раму, видит светлый двор — и вспоминает: вот оно что, опять забыли сломать это белое чудище, что дети сбили из снега, поставили среди двора, против окна своей комнаты! Днем Коля боязливо радуется на него, — это человекоподобный обрубок с бычьей рогатой головой и короткими растопыренными руками, — ночью, чувствуя сквозь сон его страшное присутствие, вдруг, даже не проснувшись, заливается горькими слезами. Да снегур и впрямь страшен ночью, особенно если глядеть на него издали, сквозь стекла: рога поблескивают, от головы, от растопыренных рук падает на яркий снег черная тень. Но попробуй-ка сломать его! Дети будут реветь с утра до вечера, хотя он все равно уже тает понемногу: скоро весна, мокнут и дымятся в полдень соломенные крыши...

Хрущев осторожно кладет ребенка на подушку, крестит его и на цыпочках выходит. В прихожей он



оров  
м, к  
рды.  
и, за  
стые  
грах

ира-

гунь-  
да с  
боль-  
рша-  
мра-  
евоу  
леги,  
бами

ть ли  
д, не  
пого-  
лоче-  
ы на  
ельза  
делю,

емнел  
он ни

надевает оленью шапку, оленью куртку, застегивается, поднимая черную узкую бороду. Потом отворяет тяжелую дверь в сени, идет по скрипучей тропинке за угол дома. Луна, не высоко стоящая над редким садом, что сквозит на белых сугробах, ясна, но по-мартовски бледна. Раковинки легкой облачной зыби тянутся кое-где по небосклону. Тихо мерцают в глубокой прозрачной синеве между ними редкие голубые звезды. Молодой снежок чуть запоросил крепкий, старый. От бани в саду, стеклянно блестящей крышей, бежит гончая Заливка. «Здравствуй, — говорит ей Хрущев. — Мы одни с тобой не спим. Жалко спать, коротка жизнь, поздно начинаешь понимать, как хороша она...»

Он подходит к снегуру и медлит минуту. Потом решительно, с удовольствием ударяет в него ногою. Летят рога, рассыпается белыми комьями бычья голова... Еще один удар, — и остается только куча снега. Озаренный луной, Хрущев стоит над нею и, засунув руки в карманы куртки, глядит на блестящую крышу. Он наклоняет к плечу свое бледное лицо с черной бородой, свою оленью шапку, стараясь уловить и запомнить оттенок блеска. Потом поворачивается и медленно идет по тропинке от дома к скотному двору. Двигается у ног его, по снегу, косая тень. Дойдя до сугробов, он пробирается между ними к воротам. Ворота отзынуты. Он заглядывает в щель, откуда резко тянет северным ветром. Он с нежностью думает о Коле, думает о том, что в жизни все трогательно, все полно смысла, все значительно. И глядит во двор. Холодно, но уютно там. Под навесами сумрак. Сереют передки телег, засыпанные снегом. Над двором — синее, в редких крупных звездах небо. Половина двора в тени, половина озарена. И старые, косматые белые лошади, дремлющие в этом свете, кажутся зелеными.

### ЗАХАР ВОРОБЬЕВ

На днях умер Захар Воробьев из Осиновых Дворов.

Он был рыжевато-рус, бородат и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было показывать. Он и сам чувствовал себя принадлежащим к какой-то иной породе, чем прочие люди, и отчасти так, как взрослый среди детей, держаться с которыми приходится, однако, на равной ноге. Всю жизнь, — ему было сорок лет, — не покидало его и другое чувство — смутное чувство одиночества: в старину, сказывают, было много таких, как он, да переводится эта порода. «Есть еще один вроде меня, — говорил он порою, — да тот далеко, под Задонском».

Впрочем, настроен он был неизменно превосходно. Здоров на редкость. Сложен отлично. Он был бы даже красив, если бы не бурый загар, не слегка вывороченные нижние веки и не постоянные слезы, стеклом стоявшие в них под большими голубыми глазами. Борода у него была мягкая, густая, чуть волнистая, так и хотелось потрогать ее. Он часто, с ласковостью гиганта, удивленно улыбался и откидывал голову, слегка открывая красную, жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. И приятный запах шел от него: ржаной запах степняка, смешанный с запахом дегтярных,

крепко кованых сапог, с кисловатой вонью дубленого полушубка и мятым ароматом нюхательного табаку: он не курил, а пухал.

Он вообще был склонен к старине. Ворот его суровой замашной рубахи, всегда чистой, не застегивался, а завязывался маленькой красной ленточкой. На пояске висели медный гребень и медная копаушка. Лет до тридцати пяти носил он лапти. Но подросли сыновья, двор справился, и Захар стал ходить в сапогах. Зимой и лето не снимал он полушубка и шапки. И полушубок остался после него хороший, совсем новый, зелено-голубые разводы и мелкие нашивки из разноцветного сафьяна на красиво простроченной груди еще не слиняли. Бурый котик, — опушка борта и воротника, — был еще остист и жесток. Любил Захар чистоту и порядок, любил все новое, прочное.

Умер он совсем неожиданно.

Было начало августа. Он только что отмахал порядочный крюк. Из Осиновых Дворов прошел в Красную Пальну, на суд с соседом. Из Пальны сделал верст пятнадцать до города: нужно было побывать у барыни, у которой снимал он землю. Из города приехал по железной дороге в село Шипово и пошел в Осиновые Дворы через Жилое: это еще верст десять. Да не то свалило его.

— Что? — удивленно и царственно-строго сказал бы он своим бархатным басом. — Сорок верст?

И добродушно добавил бы:

— Что ты, малый! Да я их тыщу могу исделать.

Был первый Спас. «Хорошо бы таперь для праздника выпить маленько», — шутя сказал он в Шипове знакомому, петрищевскому кучеру, проходя по залитому мелом вокзалу, который, как всегда летом, ремонтировали. «Что ж не пьешь? Кстати бы и мне поднес», — ответил кучер. «Не на что, протратился, и так в грузовом вагоне ехал», — сказал Захар, хотя

деньги у него были. Кучер подмигнул приятелю, уряднику Голицыну. Пристрял шиповский мужик, пьяница Алешка. И все четверо вышли из вокзала. Захар и Алешка пошли пешком, кучер сел в тележку, запряженную парой, — он выезжал за Петрицевым, да тот не приехал, — урядник на дрожки-бегунки. И Алешка тотчас затеял спор: может ли Захар выпить в час четверть?

— А с закуской? — спросил Захар, широко шагая по сухой земле, изрезанной колеями, возле высокой кобылы урядника и порой осаживая вниз оглоблю, поправляя косившую упряжь.

— Можешь требовать чего угодно, на полтинник, — сказал кучер, человек недалекий, сумрачный.

— А проспоришь, — прибавил Алешка, оборванный мужик с переломленным носом, — а проспоришь, за все втрое отдашь.

— Нехай будя по-вашему, — снисходительно отозвался Захар, думая о том, чего спросить на закуску.

Он не только не устал от путешествия в Пальну, — где дело кончилось превосходно, миром, — не только не истомился, промучившись в городской жаре двое суток, но даже чувствовал подъем, прилив силы. Ему всем существом своим хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Да что? Выпить четверть — это не бог весть какая штука, это не ново... Удивить, оставить в дураках кучера — невелик интерес... Но все-таки на спор пошел он охотно. И, принявшись за еду и питье, сперва наслаждался едой, — есть очень хотелось, каждый кусок был сладок, — потом своим рассказом о суде.

Был жаркий день. Но вокруг села, на просторе желтых полей, покрытых копнами, было уже что-то предосеннее, легкое, ясное. Густая пыль лежала на шиповской площади. Площадь отделяют от села деревянные склады, булочная, винная лавка, почтовое отделение

воров  
там, к  
ирды.  
ли, за  
истые  
уграх

бира-

пунь-  
ыла с  
боль-  
ерша-  
умра-  
цевой  
елеги,  
убами

ать ли  
ед, не  
пого-  
олоче-  
ны на  
нельзя  
сделку,

темнел  
он ни

ние, голубой дом купца Яковлева с палисадником при нем и две лавки его в особом срубе на углу. Возле черной лавки ступеньками навален сосновый тес. Сидя на нем, Захар пил, ел, говорил и смотрел на площадь, на блестящие под солнцем рельсы, на шлагбаум горбатого переезда и на желтое поле за рельсами. Алешка сидел рядом с ним и тоже закусывал — подрукавным хлебом. Урядник — скучный, запыленный человек с подстриженными усами, в обтрепанной шинели с оранжевыми погонями, — урядник и кучер курили, один на джоржках, другой в тележке. Лошади дремали, терпеливо ждали, когда прикажут им трогаться. А Захар рассказывал.

— Чем дело-то кончилось? — говорил он. — Да ничем. Помирились. Я этих судов, пропади они пропадом, с отроду не знавал, ни с кем не судился. Мне сам батюшка-покойник заказывал эти свары. А тут и свары-то вышла пустая. Бабы повздорили, а мы сдуру ввязались...

Он уже выпил бутылки три — из деревянного корца, который достал на дворе Яковлева Алешка; он делал свое дело столь легко, будучи столь уверенным в себе, что даже не замечал того, что делал. Кучер, урядник и Алешка из всех сил прикидывались спокойными, хотя душа каждого из них горячо молила бога, чтобы Захар упал за смертью. А он только расстегнул полушубок, чуть сдвинул шапку со лба, раскраснелся. Он съел две таранки, громадный пук зеленого луку и пять французских хлебов, съел с таким вкусом и толком, что даже противники его дивились ему, и оживленно, чуть насмешливо говорил:

— А на судах этих чудно! Я и итить-то туда не хотел. Слышу — подал прошение. Ну, подал и подал, не замай, а я, мол, не пойду. Только вдруг приезжает в Пальну начальство, присылает за мной сам заседатель. Ах, пропасти на тебя нету! Ничего не поде-

лаешь — надо итить. Взял хлебушка, попер. Жара ужасная, пыль по дороге как пыс, альни итить горячо. Ну, однако, прихожу. Шел дюже поспешно, являюсь...

Держа пустеющую бутылку под мышкой, он цедил в темный корец светлую влагу, наполнял его до краев и, разгладив усы, припадал к ней, пахнувшей остро и сытно, влажными губами; тянул же медленно, с наслаждением, как ключевую воду в жаркий день, а допив до дна, крякал и, перевернув корец, вытряхивал из него последние капельки. Потом осторожно ставил бутылку возле себя. Кучер не спускал с нее своих угрюмых глаз; урядник, уже передвинувший тайком стрелку часов на целую четверть вперед, тревожно переглядывался с Алешкой. А Захар, поставив бутылку, брал двести стрелки лука, ломая, забивал их в большую деревянную солонку, в крупную серую соль и пожирал с аппетитным, сочным хрустом. Глаза его налились кровью и слезами, казались страшными. Но он улыбался, грудной бас его был звучен, ласков, приятно насмешлив.

— Ну, являюсь, — говорил он, прожевывая и раздувая ноздри. — Вижу, на улице везде народ, под лозинкой в холодке сидит заседатель в майском пинжаку, с русой бородкой, на столике книги усякие, бумаги, а рядом, — Захар повел рукой налево, — урядник что-й-то записывает красным осьмигранным карандашиком. Вызывают хрестьянина Семена Галкина, обуховского. «Семен Галкин!» — «Здесь». — «Поди сюда». Подходит; начинают допрашивать. А он на урядника и не глядит, достает грушу из кармана, стоит, ест. Урядник приказывает: «Кинь грушу!» Он не слушается, доедает...

— По морде бы его этой грушой, — сказал кучер.

— Верно! — подтвердил Захар, разламывая седьмую, последнюю булку. — Стоит и лопает! Обраща-

ется заседатель к уряднику. «Вот, говорит, господин урядник, этот самый хрестьянин Семен Галкин, когда я прошлый раз с описью приезжал, отказался платить по исполнительному листу сорок восемь рублей восемь гривен, а когда я хотел описать какой есть его лешишко и анбар, то, говорит, этот самый Галкин со своими дружьями, двумя братьями Иваном и Богданом, сели на дерева, на бревна эти возле избе, и не дозволили мне свершить опись. А когда я взошел к ему в избу, то он будто невзначай спросил у свой жане, где тут у нас безмен, что было сказано про меня, и я это принял на свой счет, а Богдан тем временем подошел к окну и с косою на плече, когда косить ему нечего было, все давно скошено. А как я был один, то принужден был удалиться. Вот извольте спросить его жану Катерину и мать Феклу и показания от ней занести в протокол. А еще в опросный лист занесите показанье церковного старости, хрестьянина Федота Легонова. А еще, что сельский староста Герасим Савельев в энтот день пропал без вести и на мои требования не явился, а когда я уходил от Галкина к Митрию Овчинникову, иде был мой мерин, и проходил мимо его избе, то он притравил меня кобелсм, а сам спрятался за ворота, что я заметил очень хорошо, и посвистывал, да, слава богу, так случилось, что кобель мсня не поранил, хоть кидался прямо на грудь, сигал как бешеный, все благодаря Митрию, который выскочил с кнутом и тем меня оградил...»

Захар, увлекаясь ладностью своего рассказа, точно прочитал последние слова. Без передышки, звучно и твердо передав заявление заседателя, он хотел было продолжать, но Алешка не вытерпел и крикнул:

— Потом доскажешь! Пей! Урядник, глянь-ка на часы-то.

— Успеется, успеется, — ответил урядник и подмигнул Алешке.

Но не заметил этого Захар.

— Да не гамазись ты, черт курносый! — гаркнул он добродушно. — Дай доказать-то! Я свою время знаю, — выпью, не бойся!

Ноги его твердо стояли на краешках кованных каблуков, — он с гордостью выставил сапоги и порою без нужды подтягивал голенища, — лицо было красно, но еще не пьяно. Преувеличенно-низко расклавшись с мужиком, проехавшим мимо в пустой телеге и внимательно оглядевшим его, он шумно, через ноздри дохнул, взял обеими руками борты жаркого полушубка, двинул ворот назад и продолжал, наслаждаясь яркостью картины, занявшей его воображение, игрой своего ума.

— «Катерина Галкина! — громко, грудью говорил он, изображая всех в лицах. — К допросу. Подойди поближе!» Подходит. «Слышала, что господин заседатель сказали?» — «Слышала...» А сама плачет, заикается, ничего толком рассказать не может. «Правда ли, что твой муж безмен про господина заседателя упомянул?» — «Я, говорит, этого ничего знать не могу. Хотел муж осты вешать». — «Значит, ты от этого отказываешься?» — «Ничего про эти дела не знаю. Федька всему первый полководец. Его опросите, — и дело к развязке, и греха меньше...» Кличут сейчас старуху. Феклу. А старуха сухоногая, дерзкая, отвечает — ноздри рвет. «Имушество, говорит, моя, за сына я не плательщица, по правам покойного мужа всем владаю, а у сына ничего нету, одни портки». — «А сын-то чей же?» — «Мой». — «А раз сын твой, и толковать нечего, за неплатеж имушество отвечает. Ступай, не разговаривай, а за дерзкий ответ посажу тебя в арестанку на двое суток на хлеб, на воду...» Угомонил, значит, старуху. Вспрашивает, где церковный титор Федот Леонов? Подходит дочь его Виннадорка. — «Иде отец?» — «В клетки, после обеда отды-

хаст». — «Беги, зови его суда. Скажи, начальство требует...» А он через двор живет...

— Ближко, значит? — перебил урядник и быстро переглянулся с Алешкой и кучером. — Так, так... Ну, доказывай, доказывай. Ты, брат, на удивление горазд рассказывать!

Он говорил, что попало, лишь бы отвлечь внимание Захара, — он, вынув часы и спрятав их между коленями, передвигал стрелку еще на десять минут вперед. И Захар, с просиявшим от похвалы лицом, еще шумнее выдохнул воздух, мотнул головой, отсаживая горячий густой мех полушубка от лопаток, и загудел еще выразительнее:

— Верно! Слухай же, не перебивай, а то осерчаю... Вижу, лезет из низкой клетки приземистый старик... Идет через дорогу в избу — без шапки, в розовой новой рубахе распояской, и ворот от жары расстегнул. А из избе выходит в новой теплой поддевке, подпоясан зеленой подпояской, шапку в руках несет. Подходит. Волосы густые, седые, разложены вроде как рожки у барана, на обе стороны. С урядником, с заседателем — за ручку. (Богатый, видать, старик.) Пошушукался что-й-то с ними, показывает на Сеньку. Потом вынимает большой гаман кожаный, стал отсчитывать трехрублевки обмороженными култышками... Потом Винадорку кличет. Приказывает самовар ставить, зовет к себе урядника и заседателя чай пить: «Приходите мою охоту посмотреть, пчел моих, и какую я себе посуду завел. А еще кобылку мою гляньте. Ну, ясна, светла, — вся писаная, в яблоках!» Смеется, морщится, гнилые корешки в красном роте показывает... «Не посмотреть, говорит, нельзя, того лошадиный закон требует. А может, и сторгуемся, про что говорили-то...» И опять смеется, сипит, как змей. Пошел к избе, заскребает пыль сапогом по дороге — хворсит...

— Форсит-то, форсит, — опять перебил урядник, вынимая часы, — а ведь пять минут всего осталось. Тебе теперь одним духом надо допивать.

Лицо Захара сразу изменилось.

— Как? — строго крикнул он. — Да ты брешешь! Ужли цельный час прошел?

— Прощел, брат, прошел! — подхватили кучер и Алешка. — Допивай, допивай!

Захардохнул, как кузнечный мех, и закрыл глаза.

— Стойте! — сказал он. — Это неладно. Вы меня обмошенничали. Дайте еще сроку полчаса. Главная вещь, я сопрел весь. Жара! Август. Черт с вами, я вам лучше сам бутылку поставлю. А вы мне сроку накиньте... Ну, хоть доказать только дайте про этот самый суд! — попросил он сумрачно.

— Ага! Покаялся! — крикнул кучер насмешливо. — Жидок на расправу!

Захар остановил на нем кровавый, тяжелый взгляд. Потом, ни слова не говоря, взял бутылку за горло, до дна опорожнил ее, с краями наполнив корец, и до дна высосал его. И, слегка задохнувшись, грубо сказал:

— Ну? Сыг ты ай нет?.. А теперь — буду доказывать! — с упрямством хмелеющего человека сказал он. — Вот ты и глянешь, напоил ты mine, али у тебе и потрохов не хватит на это...

И вдруг опять повеселели страшные глаза его, лицо опять стало важным и добродушным.

— Таперь вы обязаны слухать! — всей грудью сказал он и продолжал, но уже не так складно и хорошо: — Опосля этого вызывают знахаря, Василь Иванова. Этот совсем худой, в поддевке серой, виски вроде пеньки и борода клинушкой. И еще пуще старика морщится, — не то от солнца, не то от хитрости... шат его знает. Этот, выходит, старуху опоил. Давал ей лекарству какую-то, — бывает, велел пить по маленькому стаканчику, а она и возьмишь глушить его боль-

ЭВ  
К  
Э-  
за  
е  
IX

С

шими стаканами... Вызывают его. «Как тебя зовут?» — «Был Василий». — «Кто тебе дал праву лечить, мерзавец?» А у них уж раньше, конечно, был сговор: Васька небось уж сунул им. Ну, а при пароде, известно, надо же для близиру поорать. Вспрашивал, спрашивал, потом опять как закричит на него: «Скройся из глаз моих в осинник!» Тот будто и испугался: шапку поскорее на голову — и шмыг, шмыг в осинник... Так, значит, дело и затерли. Погляделся урядник в зеркальцо, поправил саблю, сложил свои бумаги... «Ну, говорит, идем, что ль, к старику-то? Очень мне хочется, чтоб мерин еще отдохнул». — «А сколько сейчас время?» Вынул урядник новые часы, селебряные, глянул: «Тридцать восемь первого». — «Ну, пойдете, надо его охоту посмотреть, старик добре гордится». Поднялись, пошли чай пить. А мужики остались, расселись, как вороны, на срубленных деревьях возле избе, подняли гам. Иные говорят, что не надо до продажи допускать, иные — что нельзя начальство обижать. Пуще всех какой-то худой мужик орет, срезался со стариком одним. Мужик кричит, что плохо у нас жить, по чужим странам лучше. киргизу и то способней, — у того, по крайности, степя аграматные... А старик кричит, — у нас лучше...

Ему казалось, что он мог бы говорить без конца и все занятнее, все лучше, но, послушав его, убедившись, что дело пропало, свелось только на то, что Захар опил, объел их да еще без умолку рассказывает чепуху, кучер и урядник тронули лошадей и уехали, оборвав его на полуслове. Алешка посидел немного, поподдакивал, выпросил четыре копейки на табак и ушел на станцию. И Захар, совершенно неудовлетворенный ни количеством выпитого, ни собеседниками, остался один. Повздыхал, помотал головой, отодвигая ворот полушубка, и, чувствуя еще больший, чем прежде, прилив сил и неопределенных желаний, поднялся, зашел в вин-

ную лавку, купил бутылку и зашагал по переулку вон из села, пошел по пыльной дороге в открытом поле, в необозримом пространстве неба и желтых полей. Солнце опускалось, но еще пекло. Полушубок Захара блестел. Направо от него падала на золотистое пересохшее жнивье большая тень с сиянием вокруг головы. Сдвинув горячую шапку на затылок, заложив руки назад, под полушубок, Захар твердо ступал по твердой под слоем пыли земле, не мигая, как орел, смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косьбы степной простор, похожий на простор песчаной пустыни, на раскинутые по нем несметные копны, похожие вдали на гусениц,— и по горизонтам, по копнам мелькали перед его кровавыми, слезящимися глазами несметные круги — малиновые, фиолетовые и малахитовые. «А все-таки я пьян!» — думал он, чувствуя, как замирает и бьет в голову сердце. Но это ничуть не мешало ему надеяться, что еще будет нынче что-то необыкновенное. Он останавливался, пил и закрывал глаза. Ах, хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сделать что-нибудь удивительное! И опять широко озирает горизонты. Он смотрел на небо — и вся душа его, и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига. Человек он особенный, он твердо знал это, но что путного сделал он на своем веку, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, ни в чем! Старуху пронес однажды на руках верст пять... Да об этом даже и толковать смешно: он мог бы десяток таких старух донести куда угодно.

Воображение его, жадное во хмелю до картин, требовало работы. Он шагал все шире, твердо решив не дать солнцу обогнать себя, — дойти до Жилова раньше, чем оно сядет, — и думал, думал... Бутылка подходила к концу. И он чувствовал, что необходимо выпить еще маленько — у хромого мещанина, сидельца в Жильской винной лавке, на большой дороге. Солнце опуска-

лось; на смену ему поднимался с востока полный месяц, бледный, как облачко, на ровной сухой синеве небосклона. Чуть уловимый, по-вечернему душистый дымок тянул откуда-то в остывающем воздухе; оранжево краснели лучи, сыпавшиеся слева по колкому сквозному жнивью, краснела пыль, поднимаемая сапогами Захара; от каждой копны, от каждой татарки, от каждой былинки тянулась тень. «Да нет, шалишь, не обгонишь!» — думал Захар, поглядывая на солнце, вытирая пот со лба и вспоминая то битюга-жеребца, которого за передние ноги поднял он однажды на ярмарке, заспорив о силе с мещанами, то литой чугунный привод, который выволок он прошлым летом из риги на гумне барина Хомутова, то эту нищую старуху, которую тащил он на руках, не обращая внимания на ее страх и мольбы отпустить душу на покаяние. Остановясь, раздвинув ноги, от которых столбами пала тень на жнивье, Захар вынул из глубокого кармана полушубка бутылку, глянул на нее против солнца и весело ухмыльнулся, увидав, что и бутылка и водка в ней зарозовели. Закинув голову, он вылил водку в разинутый рот, не касаясь бутылки губами, и хотел было запустить ее выше самого высокого, самого легкого дымчатого облачка в глубине неба. Но, подумав, удержался: и так израсходовался! — сунул бутылку в карман и опять зашагал, с удовольствием вспоминая старуху.

«Ах, расчудесная была старуха!» — думал он, глядя то на солнце, то на сереющие за дальними копнами избы. — Шел он недавно по паровому полю. Глядь, лежит на сухой навозной куче старуха-побирушка и стонет. Был он порядочно выпивши, и, как всегда во хмелю, жадно искала душа его подвига — все равно, доброго или злого... даже, пожалуй, скорей доброго, чем злого. «Бабка! — крикнул он, быстро подходя к старухе. — Ай помираешь? Ай убил кто? Чем перед кем

провинилась?» Старуха, — она была вся в лохмотьях, бледное лицо ее было в запскавшейся крови, глаза закрыты, — зашвелилась и застонала. «Да что ж ты молчишь? — гаркнул Захар грозно. — Раз тебе спрашивают, можешь ты мне не отвечать? Знаит, так и будешь лежать? Скотину скоро погонят — баран завалает, замучает... Вставай сию минуту!» Старуха вдруг заголосила, взглянув на него, огромного и страшного. «Батюшка, не трожь меня! Меня и так бык закатал. Пожалей меня, несчастную!» — «Не могу я тебя пожалеть! — еще грознее заорал Захар, почувствовав вдруг жалость и нежность к старухе. — Вставай, говорят тебе!» Старуха приподнялась и тотчас же опять упала и заголосила еще пуще. Тогда, не помня себя от жалости, Захар сгреб ее в охапку и почти бегом помчал к селу. Старуха, обхватив обеими руками его воловью шею, задыхаясь от запаха водки, исходившего от него, тряслась на бегу, а он, боясь заплакать, быстро бормотал, стараясь, сколь возможно, смягчить свой бас: «Да что ты? Ай очумела? Чего боишься? Молчи, — говорю тебе, молчи, ни об ком не думай! Обо всем забудь!» — «Не могу, батюшка! — отвечала старуха. — Никакого счастья не вижу себе, одна во всем свете, ни напитков, ни наедков сладких отроду не видала...» — «А я тебе говорю, не голоси! — говорил Захар. — Всякий свою стежку топча! У всякого своя печаль! Копти! — гаркнул он на все поле, ощутив внезапный прилив бурной радости. — Ешь солому, а хворсу не теряй! Сейчас за мое почтение доставлю тебя на хватуру! А за быка за этого тебя драть надо. Чего шатаешься, скитаешься? Зачем к стаду лезла? Тебе надо округ баб находиться. С ними ты можешь разговор поддержать. А бык, он, брат, не помилует!» — «Ох, постой, — застонала старуха, уже смеясь сквозь слезы. — Всю душу вытряс...» И Захар заорал еще грозней: «Бабка, молчи! А то вот шарახну тебя в

ров — костей не соберешь!» И захохотал, раскрывая пасть, раскачивая старуху и делая вид, что хочет со всего размаху пустить ее с косогора...

Спина его была мокра, лицо сизо от прилива крови и потно, сердце молотами било в голову, когда, гордо глянув на мутно-малиновый шар, еще не успевший коснуться горизонта, быстро вошел он в Жилое. Было мертвенно тихо. Нигде ни единой души. Ровная бледная синева вечернего неба надо всем. Далекый лесок, темнеющий в конце лощины. Над ним полный, уже испускающий сияние месяц. Длинный, голый зеленый выгон и ряд изб вдоль него. Три огромных зеркальных пруда, а между ними две широких навозных плотины с голыми, сухими ветлами — толстыми стволами и тонкими прутьями сучьев. На другом боку другой ряд изб. И так четко все в этот короткий час между днем и ночью: и контуры серых крыш, и зелень выгона, и сталь прудов. Один, слева, чуть розовеет, прочие — две зеркальных бездны, в которых точно влиты отраженный месяц и каждый ствол, каждый сучок.

— Фу, пропасти на вас нету! — шумно вздохнул Захар, приостанавливаясь. — Как подошли все!

Ему захотелось рывкнуть так, чтобы в ужасе высыпал на выгоны весь этот мелкий народишко, спрятанный по избам. «Да нет, нет, — подумал он, мотая головой, — ошалел я, пьян... Непристойно думаю, неладно... Домой надо поскорей... Домой...»

И вдруг почувствовал такую тяжкую, такую смертельную тоску, смешанную со злобой, что даже закрыл глаза. Лицо его стало котельного цвета, отделилось от русой бороды, уши вспухли от прилива крови. Как только закрылись его глаза, так сейчас же запрыгали во тьме перед ним тысячи малахитовых и багряных кругов, а сердце замерло, оборвалось — и все тело мягко ухнуло куда-то в пропасть. Ах, домой бы теперь,

да в ригу, да в солому! Но, постояв, Захар открыл глаза и, вместо того, чтобы свернуть влево, на Осиновые Дворы, упорно зашагал, перейдя плотину, на большую дорогу, к винной лавке.

О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этих бледных равнинах за пёку, в этот молчаливый степной вечер! Но Захар всеми силами противился тоске, говорил без умолку, пил все жаднее, чтобы переломить ее и наказать этого курчаворыжего, со стоячими белыми глазами хромого мещанина, подло и радостно засуетившегося, когда Захар предложил ему поспорить: может он, Захар, выпить еще две бутылки или нет? Винная лавка, вымазанная мелом, странно белела против блеклой синевы восточного небосклона, на котором все прозрачнее и светонеснее делался круг месяца. Возле лавки стоял столик и скамейка. Мещанин, в ситцевой рубахе и обтертых докрасна опойковых сапогах, торчал возле стола, осев на одну ногу и касаясь земли носком другой,— выставив костреч, и, как обезьяна, с необыкновенной ловкостью и быстротой грыз подсолнухи, не спуская своих белым с Захара. А Захар, поднимая грудь, сжимая зубы, стискивая, точно железными клещами, своими огромными пальцами край стола, облизывая сохнувшие губы, обрывая каждое слово бурным вздохом, плохо соображая, что он говорит, поминутно проваливаясь в какую-то черную пропасть, спешил, спешил досказать, как он нес старуху...

И вдруг, размахнувшись всем туловищем, быстро встал, далеко отшвырнул ногой стол вместе с зазвеневшей бутылкой и граненым стаканом и хрипло сказал:

— Слухай! Ты!

И мещанин, уже разинувший было рот, чтобы крикнуть на Захара за бесчинство, взглянув на его белосизое лицо, онемел. А Захар, собрав последние си-

лы, не дав сердцу разорваться прежде, чем он скажет, твердо договорил:

— Слухай. Я помираю. Шабаш. Не хочу тебя под беду подводить. Я отойду. Отойду.

И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени — и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки.

Эта лунная августовская ночь была жутка. Отовсюду бесшумно бежали бабы и ребятишки к кабаку; сдержанно и тревожно переговариваясь, шли мужики. Лунный свет прозрачным дымом стоял над сухими жнивьями. А среди большой дороги белело и блестело что-то огромное, страшное: кто-то покрыл коленком мертвое тело. И босые бабы, быстро и бесшумно подходя, крестились и робко клали медяки в его возглавии.

*Капри. Февраль 1912*

## ЗАБОТА

Солнечный осенний вечер прохладен. Из-за дворов большого села, растянувшегося по скатам к лугам, к родниковой речке, желтеют новые ометы и скирды. Улица села в тени, солнце опускается за дворами, за гумнами — и ярко краснеют против него глинистые бугры по ту сторону лугов, блестит на этих буграх стекло в избе мельника.

Старик Авдей Забота, зажиточный мужик, собирается в город.

Возле его двора, на дороге между двором и пунью, дремлет запряженная в телегу сивая кобыла с мелкими, врозь расставленными копытцами, с большими ресницами, с серыми усами и большой шершавой нижней губой. Авдей курчав и сед, крупен и сумрачен; на плоской спине его, под линючей ситцевой рубашкой, выдаются лопатки. Он ходит возле телеги, набитой соломой, с молотком в руке, держит губами пучок гвоздей и ни на кого не смотрит.

У него горе.

Он в последние дни мучился думами: продавать ли барана? Баран стар, но продавать его не след, не время. Продавать нужно было бы хлеб. Осень погожая, урожай отличный, одна кладушка уже обмолочена, — только бы насыпать да в город. Но цены на рожь, на овес стоят страшно низкие. Ни зерна нельзя продавать, как ни торопи нужда... Продумав неделю, Авдей решил расстаться лучше с бараном.

Но он постарел за эту неделю, осунулся и потемнел в лице. Взгляд его тверд и сумрачен. Собирается он ни на кого не глядя.

Дочь, в нижней коленкоровой юбке, без кофточки, в одних шерстяных чулках, раза два робко и быстро перебежала дорогу от избы к пуньке. Она тоже собирается — на девишник к подруге, но боится отца, боится своей затаенной радости, своей беззаботности рядом с его заботой, — старается проскользнуть незаметно. Братишка, пузатый мальчик, в огромной старой шапке, облизывая губы, разъединенные соплями, долго хлопал, размахивал обрывком кнута и падал среди дороги. Чтобы угодить отцу, она на бегу поймала его ледяную пухлую ручку и таким вихрем умчала его в избу, что он не успел даже крикнуть.

Старуха стоит на пороге и не сводит жалостных глаз с Авдея. Она положила тонкую серую руку на выдающийся живот, а другую, подпирающую подбородок, поставила в ее ладонь. Темная, морщинистая, зубастая, она имеет вид страдальческий. Понева ее коротка, ноги длинные и похожи на палки, ступни, потрескавшиеся от грязи, холода и цыпок, — на куриные лапы. Живот ее выдается, а спина горбится от трудных родов, от тяжелых чугунов. В разрез рубахи, темной от золы, видны тощие, повисшие, как у старой собаки, груди, а меж ними — большой медный крест на засаленном гайтане.

Ее заботы сделали за долгую жизнь страдальцей, Авдея — нелюдимом.

Телега рассохлась, растрепалась. Раскапывая старновку в ее ящике, Авдей прибывает кое-где отставшие планки. Дует предвечерний ветер и задирает сзади его рубаху, обнажает желобок на широкой сухой спине, показывает тугой гашник, низко врезавшийся в тело. Портки Авдея висят по-стариковски — точно пустые. Подошел кобель и стал обнюхивать разбитые, блестящие, только что помазанные дегтем сапоги, в опустившиеся голенища которых заправлены эти портки. Авдей с размаху ударил кобеля по боку молотком.



— Полушубок вынеси да хлебушка завяжи,— сердито сказал он старухе.

Забив последний гвоздь, сдвинув со лба шапку, он решительно пошел в раскрытые ворота унавоженного двора. Половина его была в тени, половина озарена золотистым светом. В теневой половине куры усаживались на насест, на перемет, побелевший от их известкового помета, и заводили глаза. Нахохлившись, сбились голуби под застреху в углу. Они слабо заворковали, когда вошел Авдей... Как радовали его всегда эти хозяйственные куры, голуби, этот теплый двор, его глубокий навоз, плетенные из лозняка и обмазанные коровьяком с глиной закуртки! На старой телеге без передков, давно загрязшей в навозе, валялся обрывок. Взяв его, Авдей направился к закуртке, где взаперти сидел баран.

— Батюшка, мать спрашивает: огурчика положить? — крикнула девка, заглядывая в ворота.

— А сама не знает? — строго откликнулся Авдей. — Ай первый раз?

За решетчатой дверью закуты шуршала солома. Большой круторогий баран в толстой, вьющейся дымчатой овчине, с удивленным бараньим взглядом, с бараньей щеголеватостью, ходил по соломе, мелко тряся жирным хвостом. Быстро распахнув дверь, Авдей кинулся на барана всем телом, сбил, повалил его и торопливо стал связывать обрывком его тонкие ножки. Баран удивился еще более, но не издал ни звука, только глаза выкатил. Авдей поддел под связанный обрывок руку, натужился и, волоча барана спиной по навозу, потащил его за ворота, к телеге. Баран, выкатив белые глаза, сделавшись похожим на турка, мелко и быстро тряс хвостом и лизал шершавым языком руку Авдея...

Через полчаса Авдей в пути.

Медлительно скрипит, тянется с горки на горку,

проходит мимо изб и пунск, то в тени, то на солнце, по дорожному пахнувшая дегтем телега. В задке ее лежит веревочный хрептуг с сеном, в передке, на старновке — связанный, спокойный баран. Авдей, в полушубке и глубоко надвинутой шапке, с кнутом под мышкой, с трубкой в зубах, изредка пуская через плечо сладкий, пахнувший донником дым, не спеша, по дорожному, шагает за колесами.

Вот и крайняя изба, голый и широкий большак: тут поворот влево, на город. С неподвижно простертыми обломками крыльев стоит на нем ветряк, как стоял он и шестьдесят лет тому назад, когда Авдей был еще ребенком. Возле беззаботно перекрикиваются, прыгают на одной ножке, играют в лунки мальчишки... «Подождите, доиграетесь!» — думает Авдей.

Под скатом мелкая речка разливается широким плесом по белому щебню, кое-как перекинут мост на ту сторону. Плес ослепительно блестит; желто-каменистый подъем за ним весь в зеркальных веселых разводах, в медленно переливающихся отражениях. По мосту едут бездельники-охотники: высокая гнедая лошадь, беговые дрожки, на дрожках, один за другим, сидят верхом два человека, и торчат из-за спин два ружейных ствола. Авдей тянет веревочную возжу, останавливает свою кобылку и ждет, пока переберутся по узкому и зыбкому мосту встречные. Авдей глядит, но видит все как во сне. Он от горя ко всему равнодушен — как больной.

Наконец перебрался и он через мост. Поднялся на гору, спустился в котловину и опять стал подниматься... Жесткая, выгоревшая за лето мурава ржаво краснеет по каменистым перевалам старой мертвой дороги. Этим перевалам конца нет. До города верст двадцать пять, но он всегда, всю жизнь казался Авдею очень далеким. С перевала на перевал поднимается, идет он, задумчиво глядя вперед. Солнце сзади него, краснеет,

садится. Сиянием окружена лежащая по мураве тень Авдея, длинная тень телеги, лошади. Пусто кругом, далеко видно. Воронье бесприютно, по-осеннему ночует на опушке желтых жнивий. На горизонте ряд телеграфных столбов, уходящих в бесконечное поле. Алыми клубами бежит назад дым бегущего товарного поезда — длинной цепи красных вагонов. Авдей до сих пор глядит на поезда неприязненно. Раз в жизни ехал и он по железной дороге. И закалялся: все время кружится голова, все время страшно...

Дойдя до железной дороги, пересекающей большак, он ждет возле переезда, закрытого шлагбаумом. Неприятно рано, по-осеннему, зажгли огонь в будке.

Дальше — шоссе, самая скучная дорога на свете...

Авдею шестьдесят семь лет: скоро умирать. Особой нужды он никогда не знал, от бед, несчастий бог его миловал.

— Расскажи что-нибудь интересное, что было в твоей жизни,— сказал ему однажды молодой барин.

— У меня, слава богу, ничего такого не было,— ответил Авдей.— Вот семьдесяток живу, а, благодарю бога, интересного ничего не было.

Но заботы всю жизнь поедом ели его. Жаден, говорили про него соседи победней. «Да ведь тебе, побиршке, хорошо говорить!» — всегда со злобой думал в ответ на это Авдей.

Солнце закатилось, дует холодный ветер. Авдей прикрывает барана соломой, надвигает шапку поглубже, запускает руки в рукава и мерно шагает по краю шоссе за скрипящей телегой.

Широкий старческий нос его сизеет, стынет, ветер косит седую бороду. Большие серые брови сурово сдвинуты, в потухших глазах — тоска.

*Капри. 24 января 1913*

### ЛИРНИК РОДИОН

Сказывал и пел этот «Стих о сироте» молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствовавший куда бог на душу положит: от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам. Сказывал и пел на пароходике «Олег» в Херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.

Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В Полтавщине она была прохладная, с звонкими ветрами «суховіями», с изумрудом озимей, с голыми метлами хуторских тополей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, пахавшие на волах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казачки: еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашевых яиц. В гирлах же было совсем лето, много стрекоз вилось над очерстом, много скиглило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах реки.

На юг, в Никополь и дальше плыл я на этом «Олеге», очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и поспешно шумя колесами, медленно

тянулся он среди необозримых камышовых зарослей и полноводных затонов. В первом классе «Олега» никого не было, кроме какой-то девицы, знакомой капитана, державшейся особняком. Во втором было несколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно не бритый, нищий актер. А на нижней палубе набилось душ полтораста хохлушек, пливших куда-то на весенние заработки. Днем у них было шумно, тесно, жарко; днем они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, вполголоса пели.

Этот вечер был особенно прекрасен, особенно располагал к тому.

По палубе бродила, останавливалась и притворялась залюбовавшейся облаками на закате знакомая капитана. Она накинула на голову зеленый газ, тонкий, как паутина, обвила его концы вокруг шеи, и сумеречный ветерок чуть играл ими. Она была в прозрачной кофточке, высока и так хрупка станом, что, казалось, вот-вот он переломится. Одной рукой она придерживала газ, другой — юбку, обтягивая ею ноги. А за нею все время следил актер.

Актер боком прислонился к спинке скамьи и закинул ногу на ногу, как бы показывая, что он ничуть не стесняется своими ужасными ботинками. Он поднял воротник клетчатого пальто с широким хлястиком на поясице, надвинул на лоб широкополую шляпу и, шевеля тросточкой, поводил глазами.

Девица гуляла, останавливалась, будто и не замечала его. Но взгляды из-под широкополой шляпы делались все пристальнее. Внезапно, вздрогнув, как бы от вечерней свежести, она вскинула брови, подхватила юбку и будто беззаботно побежала по трапу вниз. И, прикрыв глаза, актер притворился дремлющим. За мягкой чернотой правобережья, его ветряков и косогоров, слившихся с затонами, с густыми камышами,

медленно блекли в чем-то сумрачно-алом слабые очертания мутно-синих облаков. В вышине проступали мелкие, бледные звезды. «Олег», дымя, дрожал и однообразно шумел колесами... И вот, вполслуха, стройным хором, запели хохлушки, выспавшиеся за день.

Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рожденье, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древнеславянская синь Карпатских высот. Родион, случайно пристравший к женщинам и плывший вместе с ними, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный. Если он еще жив, бог, верно, дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям.

Слепые — народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и «псалмы», и «думы», и любовное, и «про Хому», и про Почаевскую божью мать, — и легкость, с которой он менялся, была оча-

ровательна: он принадлежал к тем редким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось: одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множество ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку, огромные сапоги. И чудесно, по-славянски краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста.

В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры, — «ой ти, сыну, мій сын, ты, дытына-моя!» — долго не запевали другой; запели было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую и тотчас бросили. Родион вполголоса занял первую строку песни еще более старинной, чем о матери и сыне, — «край Дунаю трава шумить» — и вдруг окликнул кого-то какой-то прибауткой, и вокруг него радостно прыснули, покатались со смеху.

И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы, среди ровного, уже ночного шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видном затоне, между двух черных стен камыша, ночной рыбак лучил рыбу: спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую

свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском, — многие впервые побывали на этом пути в Киеве — и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заняла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.

Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил — и сквозь восточную, степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, что именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу, — о сироте и о мачехе, — мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами.

— Ой, зашуміли луги ще й більшій ріці, — вздохнул и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру.

И пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию:

— Померла матинка, зосталися діти...

Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому сердцу, — сердцу и беспощадному и жалостливому, — какова она, эта сиротская доля. Отец, сказал он, тот утешится:

— Отец жону знайде, буде в парі жити...

А сиротам никто не заменит родной матери:

— Нещасні сиріткі — ті підуть служити...

Но не спасет их, сказал он, никакая служба, никакая самая старательная работа:

— Що сирота робить — робота ні за що, а люди говорять: сирота ледащо!

Одним тоном слов и лиры он дал трогательный образ всем чужого, всем покорного ребенка, стриженной, босой, в грязной сорочке и старенькой плахе девочки. Она долго опускала заплаканные глазки, долго надеялась терпением и непосильным трудом снять милость мачехи — но напрасно: даже родной отец, раб этой безжалостной, хозяйственной женщины, избегал глядеть на свою сироту, боялся хотя бы словом вступить за нее. А уж если родному отцу в тягость собственное дитя, то где же правда, где справедливость, где сострадание? Их надо искать по свету, по миру, паче же всего где-то там, куда скрылась мать, единственный нескудеющий источник нежности. — И, опять со вздоха возвышая свой грудной голос, опять усиливая звенящий тон лиры, Родион продолжал:

— Ой пішла сїрїтка темними лугами, — вмивається сїрїтка дрібними сльозами. Не могла сїрїтка мачусї вгодити, — ой, пішла сїрїтка по світу блудити: по світу блукати, матінки шукати...

Сын народа, не отделяющего земли от неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее «в темных лугах», в светлые пасхальные дни, с самим воскресшим господом:

— Тай зустрїв її Христос, став її питати: «Куди йдешь, сїрїтка?» — «Матери шукати». — «Ой, не йди, сїрїтка, бо далеко зайдешь, вже ж своєї матінки й по вік не знайдешь: бо твоя матінка на високій горі, тіло спочиває у смутному гробі...»

С великой нежностью, но все так же просто передал он горькую «размову» сироты с матерью, — точнее говоря, с «янгелем» (ангелом), отзывавшимся из могилы за усопшую:

— Ой, пішла сїрїтка на той гроб ридати: чи не

обізвється в гробу рідна мати? Обізвався Янголь, як рідная мати, та й став її стихо, словесно питати:

— Хто це гірко плаче  
На мойому гробі?  
— Ох, це я, матинко:  
Прийми мене к собі!  
— Насипано землі,  
Що вже ж я не встану,  
Сліпилися очі,  
Вже й на світ не гляну!  
Ох, як тяжко, важко  
Каміння глодати:  
А ще тяжче, важче  
Тебе к собі взяти!  
Нема тут, сирітка,  
Ні їсти, ні пити,  
Тільки вєдів господь  
В сирій землі гніти!  
Пішла б ти, сирітка,  
Мачусі б просила:  
Може б змілувалась —  
Сорочку пошила...

И с непередаваемою трогательностью ответил ребенок ангелу-матери:

— Я ж її просила, я ж її годила. А злая мачуха сорочки не шила!

Как все истинные художники, Родион сердцем знал, когда надо сказать, когда помолчать. Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми вздохами своих слушательниц. А насладившись, вдруг грозно и радостно возвысил голос и развернул уже иные картины — картины Христова суда, его возмездия:

— Посилає Христос-бог Янголів от себе, — сказав он торжественно, чистым и звонким голосом. — Візьміть ту сирітку до ясного небе, посадіть сирітку у світлому раю, у господа бога, у честі і славі!

И со скрежетом и звоном лиры далеко разлил свой  
ла вневещи от радостного гнева плач:

Посиде бог з пекла  
По плую мачуху,  
По плую мачуху  
I по плуху:  
Пиднимть мачуху  
У гору високо,  
Закійньте мачуху  
У пекло глибоко!

Кончив, он опять помолчал и твердо сказал обыч-  
ным голосом, без лиры:

— Слушайте ж, люде: хто сироти має, нехай догля-  
дає, на путь наставляє.

И сказав, уже не нарушил молчания ни единым  
добавлением. Только долго покрывал сказанное одно-  
образным нытьем, ропотом лиры, как бы смягчая силу  
впечатления.

Актер спал, прислонясь к скамейке. Выходила боль-  
шая теплая луна, видно было его лицо, грустное во сне.  
Тускло золотились под луной дальние чащи черных  
камышей. Широкий золотой столб погружался в зер-  
кальную глубину между ними, и жабы, чувствуя лун-  
ный свет, начали сладострастно, изнемогаю, стонать в  
них, похохатывать. Следуя изгибам затонов, «Олег»  
все поворачивал; и тянуло то теплом, то сыростью,  
гнилью — весной, плавнями. Только крупные лучи-  
стые звезды остались в небе, и дым из трубы подни-  
мался прямее, выше...

А записывал я стих про сироту в Никополе, в  
жаркий полдень, среди многолюдного базара, среди  
телег и волов, запаха их помета и сена, сидя вместе с  
Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и  
снисходительно, повторяя одно и то же по несколько  
раз, и порою останавливался, сдерживая легкую доса-  
ду, когда я ошибался. А чем я был виноват? Некоторые

стихи он говорил то так, то сяк, кое-что улучшая по своему вкусу.

Когда мы кончили, он долго что-то додумывал, и солнце пекло его непокрытую голову, его незрячее, ничего не выражающее лицо. Потом с тонкой улыбкой намекнул насчет корчмы. Я положил в его ладонь несколько пятак. Он быстро зажал их своими цепкими пальцами, быстро приподнялся, сунув лиру под мышку, и, поймав мою руку, радостно и осторожно поцеловал ее.

*Капри. 1913*

### БРАТЬЯ

Взгляни на братьев, избивающих друг друга.  
Я хочу говорить о печали.

*Сутта Нипата*

Дорога из Коломбо вдоль океана идет в кокосовых лесах. Слева, в их тенистой дали, испещренной солнечным светом, под высоким навесом перистых метелок-верхушек, разбросаны сингалезские хижинки, такие низенькие по сравнению с окружающим их тропическим лесом. Справа, среди высоких и тонких, в разные стороны и причудливо изогнутых темно-кольчатых стволов, стелются глубокие шелковистые пески, блестящее золотое, жаркое зеркало водной глади и стоят на ней голубые паруса первобытных пирога, утлых сигароподобных дубков. На песках, в райской наготе, валяются кофейные тела черноволосых подростков. Много этих тел плещется со смехом, криком и в теплой прозрачной воде каменистого побережья... Казалось бы, зачем им, этим лесным людям, прямым наследникам земли прародителей, как и теперь еще называют Цейлон, зачем им города, ценны, рупии? Разве не всё дает им лес, океан, солнце? Однако, входя в лета, одни из них торгуют, другие работают на рисовых и чайных плантациях, третьи — на севере острова — ловят

жемчуг, опускаясь на дно океана и поднимаясь оттуда с кровавыми глазами, четвертые заменяют лошадей, — возят европейцев по городам и окрестностям их, по темно-красным тропинкам, осененным громадными сводами лесной зелени, по тому «кабуку», из которого и был создан Адам: лошади плохо переносят цейлонский зной, всякий богатый резидент, который держит лошадь, отправляет ее на лето в горы, в Кэнди, в Нурилью.

На левую руку рикши, между плечом и локтем, англичане, нынешние хозяева острова, надевают бляху с номером. Есть простые номера, есть особенные. Старик-сингалезу, рикше, жившему в одной из лесных хижин под Коломбо, достался особенный, седьмой номер. «Зачем, — сказал бы Возвышенный, — зачем, монахи, захотел этот старый человек умножить свои земные горести?» — «Затем, — ответили бы монахи, — затем, Возвышенный, захотел этот старый человек умножить свои земные горести, что был он движим земной любовью, тем, что от вска призывает все существа к существованию». Он имел жену, сына и много маленьких детей, не боясь того, что «кто имеет их, тот имсет и заботу о них». Он был черен, очень худ и невзрачен, похож и на подростка, и на женщину; посерели его длинные волосы, в пучок собранные на затылке и смазанные кокосовым маслом, сморщилась кожа по всему телу, или, лучше сказать, по костям; на бегу пот ручьями лил с его носа, подбородка и тряпки, повязанной вокруг жидкого таза, узкая грудь дышала со свистом и хрипом; но, подкрепляя себя дурманом бетеля, нажевывая и сплевывая кровавую пену, пачкая усы и губы, бежал он быстро.

Движимый любовью, он не для себя, а для семьи, для сына хотел счастья, того, что не суждено было, не далось ему самому. Но по-английски знал плохо, названия мест, куда надо было бежать, разбирал не

сразу и часто бежал наугад. Колясочка рикши очень мала; она с откидным верхом, колеса ее тонки и высоки, оглобли не толще хорошей трости. И вот влезает в нее большой белоглазый человек, весь в белом, в белом шлеме, в грубой, но дорогой обуви, усаживается плотно, кладет нога на ногу и сдержанно-повелительно, в горло себе, каркает. Подхватив оглобли, старик припадает к земле и летит вперед, едва касаясь земли легкими ступнями. Человек в шлеме, держа палку в конопатых руках, задумался о делах, загляделся — и вдруг злобно выкатывает глаза: да он мчится совсем не туда, куда надо! Короче сказать, немало палок влетало старику в спину, в черные лопаточки, вечно сдвинутые в чаянии удара. Но немало и лишних центов сорвал он с англичан: осадив себя на всем бегу у подъезда какого-нибудь отеля или конторы и бросив оглобли, он так жалостно морщился, так поспешно выкидывал вперед длинные, тонкие руки, сложив ковшиком мокрые обезьяньи ладони, что нельзя было не прибавить.

Раз прибежал он домой совсем не в урочное время: в самый жар полдня, когда золотыми стрелами снуют в лесах те лимонные птички, что называются солнечными, когда так весело и резко вскрикивают зеленые попугаи, срываясь с деревьев и радугой сверкая в пестроте лесов, в их тени и лаковом блеске, когда так сладко и тяжело пахнут в оградах старых буддийских вихар, крытых черепицей, сливочные цветы безлиственного жертвенного дерева, похожие на маленькие туберозы, такими яркими самоцветами переливаются толстоголовые хамелеоны, мелькая и по гладким и по кольчатым, как хобот слона, стволам деревьев, так много реет и замирает на солнце огромных пышных бабочек и агатовым зерном кишат, текут горячие бурые холмики муравьев. Все в лесах пело и славилو бога жизни-смерти Мару, бога «жажды существова-

ния», все гонялось друг за другом, радовалось краткой радостью, истребляя друг друга, а старый рикша, уже ничего не жаждавший, кроме прекращения своих мучений, лег в душном сумраке своей мазанки, под ее пересохшей лиственной крышей, шуршащей красными змейками, и к вечеру умер — от ледяных судорог и водяного поноса. Жизнь его угасла вместе с солнцем, закатившимся за сиреневой гладью великих водных пространств, уходящих к западу, в пурпур, пепел и золото великолепнейших в мире облаков, — и настала ночь, когда в лесах под Коломбо остался от рикши только маленький скорченный труп, потерявший свой номер, свое имя, как теряет свое название река Келани, достигнув океана. Солнце, заходя, переходит в ветер; а во что переходит умерший? Ночь быстро гасила сказочно-нежные, розовые и зеленые краски минутных сумерек, летучие лисицы бесшумно проносились под ветвями, ища ночлега, и черной жаркой тьмой наполнялись леса, загораясь мириадами светящихся мух и таинственно, знойно звеня цветами, в которых живут мелкие древесные лягушки. В далекой лесной кумирне, перед лампадой, чуть мерцавшей на черном жертвеннике, облитом кокосовым маслом, усыпанном рисом и увядшими цветочными лепестками, на правом боку, кротко подложив ручку под голову, покоился Возвышенный, гигант из сандалового дерева, с широким позолоченным лицом и длинными косыми глазами из сапфира, с улыбкой мирной грусти на тонких губах. На спине лежал в темной хижине рикша, и смертная мука искажала его жалкие черты, ибо не дошел до него голос Возвышенного, призывавший к отречению от земной любви, ибо за могилой ждала его новая скорбная жизнь, след неправой прежней. Зубастая старуха, сидевшая у порога хижины, у костра под котелком, плакала в эту ночь, скорбь свою питая все той же неразумной любовью и жалостью. Возвышенный упо-

добил бы ее чувства медной серьге в ее правом ухе, имевшей вид бочонка: серьга была велика и тяжела, она так оттянула разрез мочки, что образовалась поря- дочная дыра. Резко белела ее короткая кофточка из бумажной материи, надетая прямо на голос кофейное тело. Голые дети, как чертенята, играли, визжали, гонялись друг за другом возле. А сын, легконогий юноша, стоял в полутьме за огнем. Он вечером видел свою невесту, круглолицую тринадцатилетнюю девочку из соседнего селенья. Он испугался и удивился, услышав о смерти отца, — он думал, что это будет еще не скоро. Но, верно, был он слишком взволнован другою любовью, которая сильнее любви к отцам. «Не забывай, — сказал Возвышенный, — не забывай, юноша, жаждущий возжечь жизнь от жизни, как возжигается огонь от огня, что все страдания этого мира, где каждый либо убийца, либо убиваемый, все скорби и жалобы его — от любви». Но уже без остатка, как скорпион в свое гнездо, вошла любовь в юношу. Он стоял и смотрел на огонь. Как у всех диких, ноги его были не в меру тонки. Но и Шива позавидовал бы красоте его торса цвета темной корицы. Блестели при огне его черно-синие конские волосы, длинные, стянутые и закрученные на макушке, блестели глаза из-под длинных ресниц, и блеск их был подобен блеску кокса против огня.

На другой день соседи отнесли мертвого старичка в глубину леса, положили в яму, головой на запад, к океану, торопливо, но стараясь не шуметь, забросали землей, листьями и торопливо пошли омываться. Старичок отбежался; с его тонкой, посеревшей и сморщившейся руки сняли медную бляху — и, любуясь ею, раздвывая тонкие ноздри, юноша надел ее на свою, круглую и теплую. Сперва он только гонялся за опытными рикшами, прислушиваясь, куда посылают их седоки, запоминал названия улиц и английские слова;

потом и сам стал возить, сам стал зарабатывать, готовясь к своей семье, к своей любви, желание которой есть желание сыновей, равно как желание сыновей есть желание имущества, а желание имущества — желание благополучия. Но однажды, прибежав домой, он наткнулся на другую страшную весть: невеста его исчезла — пошла на Невольничий Остров, в лавку, и не вернулась. Отец невесты, хорошо знавший Коломбо, часто ходивший туда, дня три разыскивал ее и, должно быть, что-нибудь узнал, потому что вернулся успокоенный. Он вздыхал и опускал глаза, выражая покорность судьбе; но это был большой притворщик, старик лукавый, как все, у кого есть достаток, кто торгует в городе. Он был полон, с женскими грудями, с матовой сединой, украшенной дорогим черепаховым гребнем; ходил он босиком, но под зонтом, бедра обертывал куском хорошей пестрой материи; кофта на нем была пикейная. От него нельзя было добиться правды, а женщины, девушки все слабы, как все реки извилисты, и молодой рикша понимал это. В столбняке просидев двое суток дома, не притрагиваясь к пище, только жуя бетель, он наконец очнулся и опять убежал в Коломбо. О невесте он, казалось, совсем забыл. Он бегал, жадно копил деньги — и нельзя было понять, во что больше он влюблен: в свою беготню или в те серебряные кружочки, что собирал за нее. Один русский моряк снялся с ним в фотографии и подарил ему карточку. Долго после того молодой рикша радостно дивился на свое изображение: он стоял в оглоблях, повернув лицо к воображаемым зрителям, и всякий сразу мог узнать его, — вышла даже бляха на руке. Благополучно, с виду даже счастливо проработал он так с полгода.

И вот сидел он как-то утром, вместе с другими рикшами, под многоствольным банианом на той длинной улице, что идет от Невольничьего Острова к Парку

Виктории. Горячее солнце только что показалось из-за деревьев со стороны Мараданы. Но высоко разросся баниан, и уже не было тени у его корней, осыпанных сожженной листвой. Колясочки накалялись от зноя, тонкие оглобли их лежали на темно-красной разогретой земле, пахнувшей и нефтью, и так, как пахнет теплый от размола кофе. С этим запахом мешались густые сладкие запахи вечноцветущих окрестных садов, камфары, мускуса и того, что ели рикши; а ели они бананы, маленькие, теплые, нежно-розовые, в золотистой коже, и болтали, сидя на земле, до подбора поднимая острыми углами колени, положив на них руки, а на руки — свои женские головы. Вдруг вдалеке, возле белых оград бунгалоу, испещренных светотенью, показался человек в белом. Он шел посредине улицы той упрямой и твердой походкой, которой ходят только европейцы. И, молнией вскочив с земли, впереронки кинулась к нему вся стая этих голых длинноногих людей. Они налетели на него со всех сторон, и он грозно крикнул, взмахнув тростью. Робкие и обидчивые, они со всего разбега осадили себя вокруг него. Он взглянул на них, — и седьмой номер с его смоляными волосами показался ему сильнее прочих. На седьмой номер и пал его выбор.

Он был невысок и крепок, в золотых очках, с черными сросшимися бровями, в черных коротких усах, с оливковым цветом лица, на котором тропическое солнце и болезнь печени уже оставили свой смуглый след. Шлем на нем был серый, глаза как-то странно, будто ничего не видя, глядели из угольной тьмы бровей и ресниц сквозь блестящие стекла. Он сел умело — сразу нашел в колясочке ту точку, при которой рикше свободнее бежать, и, взглянув на татуированную кисть левой руки, короткой и сильной, на маленькие часики в кожаной лунке, назвал Йорк-Стрит. Деревянный голос его был тверд и спокоен, но

взгляд странен. И рикша подхватил оглобли и понесся вперед, поминутно пощелкивая звонком, прикрепленным на конце оглобли, и тасуясь с пешеходами, арбами и другими рикшами, бегущими взад и вперед.

Был конец марта, самое знойное время. Не прошло и трех часов с восхода солнца, а уж казалось, что близок полдень, — так жарко, светло было всюду и так многолюдно возле лавок в конце улицы. Земля, сады, вся та высокая, раскидистая растительность, что зеленела и цвела над бунгалоу, над их меловыми крышами и над старыми черными лавками, пресытили воздух теплом и благовонием, — лишь дождевые деревья туго свернули свои листья-чашечки. Ряды лавок, вернее, навесов, крытых черной черепицей, увешанных огромными связками бананов, сушеной рыбой, вяленой акулой, были полны покупателями и продавцами, одинаково похожими на темнокожих банщиков. Рикша, подавшись вперед, мелькая длинными ногами, бежал быстро, и еще ни одной капли пота не было на его лоснящейся кокосовым маслом спине, на его округлых плечах, среди которых тонкий ствол девичьей шеи грациозно держал смоляную голову, накаляемую солнцем. В самом конце улицы он вдруг остановился. Чуть повернув лицо, он быстро проговорил что-то по-своему. Англичанин, его седок, увидел концы изогнутых ресниц, уловил слово «бетель» и поднял брови. Как? Такой молодой, крепкий, пробежал каких-нибудь двести шагов — и уже бетель? Не ответив, он ударил рикшу тростью по лопаткам. Но тот, — трусливый, как все сингалезы, но и настойчивый, — только дернул плечом и стрелой полетел вкось по улице, к лавкам.

— Бетель! — повторил он, поворачивая к англичанину гневные глаза и по-собачьи оскалившись.

Но англичанин уже забыл о нем. И через минуту рикша выскочил из лавочки, держа на узкой ладони

лист персичного дерева, намазывая его известью и завертывая в него кусочек арского плода, похожий на кусочек кремня. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не лги и ничем не опьяняйся, заповедовал Возвышенный. Да, но что знал о нем рикша? Смутно звучало в его сердце то, что было смутно воспринято несметными сердцами его предков. В дождливое время года он ходил с отцом к священным шалашам и там, среди женщин и нищих, слушал жрецов, читавших на древнем, всеми забытом языке, и ничего не понимал, только подхватывал общее радостное восклицание при имени Возвышенного. Не раз случалось, что молился при нем отец на пороге кумирни; он преклонялся перед лежачей деревянной статуей, бормоча ее заповеди, поднимая соединенные ладоли ко лбу, а потом клал на жертвенник самую мелкую и старую из своих тяжко заработанных монет. Но бормотал он равнодушно, — он ведь только боялся картин на стенах кумирни, изображений муки грешников; он преклонялся и перед другими богами, перед ужасными индусскими статуями, он и в них верил, как верил в силу демонов, змей, звезд, мрака...

Сунув бстель в рот, рикша, в чувствах своих резко изменчивый, дружелюбно улыбнулся англичанину глазами, схватил оглобли и, оттолкнувшись левой ногой, опять побежал. Солнце слепило, сверкало в золоте и стеклах очков, когда англичанин поднимал голову. Солнце жгло его руки и колени, земля горячо дышала, было даже видно, что над ней, как над жаровней, дрожит воздух, но он сидел неподвижно, не дотронулся до верха колясочки. Две дороги вели в город, или, как называют его резиденты, в Форт: одна вправо, мимо малайского капища, по дамбе между лагунами, другая влево, к океану. Англичанину хотелось последней. Но рикша обернулся на бегу, показывая свои окровавленные губы, и сделал вид, что не понимает, чего хотят от

него. И англичанин опять уступил, он рассеянно смотрел вокруг себя. Зеленая лагуна, блестящая, теплая, полная черепах и гнили, окаймленная вдали кокосовой рощей, лежала справа. По дамбе шли, ехали, бежали, щелкая звонками. Стали попадаться рикши в белых кителях и коротких белых панталонах. Европейцы, сидевшие в колясочках, были бледны после томительной ночи, высоко задирали свои белые башмаки, положив колено на колено. Прокатила двуколка, запряженная серым горбатым бычком, — под ее навесом, в легкой жаркой тени, сидел парс, желтолицый старик, похожий на евнуха, в халате и бархатном черепенике, шитом золотом. Великан-афганец в белых шароварах, в мягких сапогах с загнутыми носками, в белом казакине и огромном розовом тюрбане, неподвижно стоял над лагуной, глядя на черепах, в теплую жидкую воду. Без конца тянулись влекомые волами длинные крытые арбы. Под их узкими соломенными сводами навалены были тюки товаров, а порою — целая куча коричневых тел, молодых рабочих. Тощие, сожженные зноем старики, с красными от красной пыли ногами, шагали у колес, точно мумии старух. Шли каменщики, дюжие черные томилы... «Пагода», — разумея чайный дом, сказал англичанин под теми патриархальными деревьями, что растут при въезде в Форт, под необъятными навесами зелени, светлой от солнца, ее проникающего.

Возле старого голландского здания с аркадами в нижнем этаже остановились. Англичанин посмотрел на часы и ушел пить чай и курить сигару. А рикша сделал полукруг по широкой тенистой улице, по красно-лиловой мостовой, усыпанной желтыми и алыми лепестками кетмий, и, бросив оглобли у древесных корней, с разбегу сел. Он поднял колени и положил на них локти, жарко дыша банным благовонным теплом полдня и бессмысленно поводя глазами за проходящими сингалезами и европейцами, вынул из-

за передника тряпку, вытер ею окровавленные бетеlem губы, лицо, выпуклости на гладкой груди и, сложив ее бинтом, приложил ко лбу, повязал голову: это было совсем некрасиво, придавало ему вид больного, но ведь многие рикши делают так. Он сидел и, может быть, думал... «Тела наши, господин, различны, но сердце, конечно, одно», — сказал Ананда Возвышенному, и, значит, можно представить себе, что должен думать или чувствовать юноша, выросший в райских лесах под Коломбо и уже вкусивший самой сильной отравы — любви к женщине, уже вмешавшийся в жизнь, быстро бегущую за радостями или убегающую от печалей. Мара уже ранил его, но ведь Мара и зализывает раны. Мара вырывает из рук человека то, что схватил человек, но ведь Мара и разжигает человека снова схватить отнятое или другое что-нибудь, подобное отнятому... Напившись чаю, англичанин бродил по улице, заходил в магазины, рассматривал в витринах драгоценные камни, слонов и будд из эбенового дерева, всякие пестрые ткани, золотые в черных крапинах шкуры пантер. А рикша, что-то думая или только чувствуя, ярко переглядывался с другими рикшами и ходил позади англичанина, возя за собой колясочку. Ровно в полдень англичанин дал ему рупию, чтобы он купил себе поесть, а сам ушел в контору большого европейского пароходства. Рикша купил дешевых папирос, стал курить, сильно затягиваясь, глядя на папиросу, как делают это женщины, и выкурил подряд целых пять штук. Сладко одурманенный, сидел он в сквозной тени против трехэтажного дома, где была контора, и вдруг, подняв глаза, увидел, что на балконе под белой маркизой появился его седок и еще человек пять европейцев. Все они смотрели в бинокли на гавань — и вот за крышами пристани показались одна за другой и медленно поплыли три высокие, тонкие мачты, слегка отклоненные назад. С балкона замахали

платками, а из-за крыш мрачно, могуче и величаво, отзываясь по рейду и в городе, заревела труба: пароход из далекой Европы, которого ожидал седок рикши номер седьмой, прибыл. С точностью вошел он после двадцатидневного плавания в Коломбо — и то, чего совсем не ожидал рикша, полный надежд и желаний, этот роковой для него обед в доме на лагуне был решен.

Но до обеда, до вечера оставалось еще много времени. И опять вышел на улицу этот ничего не видящий человек в очках. Он простился с теми двумя, что вышли с ним и направились к белой статуе Виктории, к крытой пристани, и опять побрел по улице рикша — на этот раз к отелю, где в эту пору, в полутемной зале, знойную духоту которой разведали, мешали с запахом кушаний вертевшиися под потолком весла, ело и пило много богатых резидентов и туристов. И опять, как собака, сел рикша на мостовую, на лепестки кетмий. Сквозная тень соединяющихся светло-зелеными вершинами деревьев осеняла улицу, и шли мимо него в этой тени женоподобные сингалезы, навязывая европейцам цветные открытки, черепаховые гребни, драгоценные камни, — один даже таскал за собой на шнурке и продавал зверька в шубке из длинных колючек, — и всё бежали, бежали по этой богатой европейской улице полудикие рикши... Вдали, среди открытой площади, горела белизной большая мраморная женщина, гордая, с двойным подбородком, в порфире и коронс, восседавшая на высоком мраморном пьедестале. И оттуда толпой шли только что прибывшие из Европы. На подъезд отеля выскакивали сизые и черные слуги, кланяясь, выхватывая из рук у них трости, мелкие вещи, и поклонами, сдержанными, изысканными, встречал их на пороге человек, блестящий напомаженным пробором, глазами, зубами, запонками, крахмальным бельем, пикейным смокингом, пикей-

ными панталонами и белой обувью. «Люди постоянно идут на пиршества, на прогулки, на забавы, — сказал Возвышенный, некогда посетивший этот райский приют первых людей, познавших желания. — Вид, звуки, вкус, запахи опьяняют их, — сказал он, — желание обвивает их, как ползучее растение, зеленое, красивое и смертоносное, обвивает дерево Шала». Следы усталости, истомы от зноя, морской качки и болезней были на серых лицах шедших к отелю. У всех вид был полумертвый, все говорили, не двигая губами, но все шли и один за другим скрывались в сумраке вестибюля, чтобы разойтись по своим комнатам, вымыться, ободриться, а потом, до красноты лица опьянив себя едой, питьем, сигарами и кофе, покатить на рикшах на берег оксана, в Сады Корицы, к индусским храмам и буддийским вихарам. У каждого, у каждого в душе было то, что заставляет человека жить и желать сладкого обмана жизни! А рикше, рожденному на земле первых людей, разве не вдвойне был сладок этот обман? Мимо него шли женщины, пожилые, некрасивые, такие же длиннозубые, как его черная мать, сидевшая в далекой лесной хижине, но порою проходили и девушки, миловидные, в белых нарядах, в небольших шлемах, опутанных легкими вуалями, и, возбуждая в нем вожделение, пристально глядели на его поднятые великолепные ресницы, на тряпку вокруг его смоляной головы и на окровавленный рот. А разве она, та, что пропала в этом городе, была хуже их? Тепло тропического солнца взрастило ее. От белой, в голубых цветочках, короткой кофты и такой же юбки, надетых на голое, чуть полное, но крепкое, небольшое тело, она казалась чернее. У нее была круглая головка, выпуклый лобик, круглые сияющие глаза, в которых детская робость уже смешивалась с радостным любопытством к жизни, с затаенной женственностью, нежной и страстной; было коралловое

ожерсье на круглой шее, маленькие руки и ноги в серебряных браслетах... Вскочив с места, рикша побежал в один из ближних переулков, где в старом одноэтажном доме под черепицей, с толстыми деревянными колоннами, был простонародный бар. Там он положил на прилавок двадцать пять центов и за это вытянул целый стакан виски. Смешав этот огонь с бетелем, он обеспечил себя блаженным возбуждением до самого вечера, до той поры, когда леса под Коломбо, наполняясь черной жаркой тьмой, таинственно зазвенят журчанием древесных лягушек, когда чащи бамбука затрепещут мириадами огненных искр.

Пьян был и англичанин, выйдя с сигарой из отеля, — глаза его были сонны, порозовевшее лицо стало как будто полнее. Поглядывая на часы и что-то думая, видимо, не зная, как убить время, он в нерешительности постоял возле отеля, потом приказал везти себя сперва на почту, где опустил в ящик три открытки, а от почты — к саду Гордона, куда даже не зашел, — только посмотрел в ворота на монумент и на аллеи, — а от сада Гордона — куда глаза глядят: к Черному Городу, к рынку в Черном Городе, к реке Келани... И пошел, пошел мотать его пьяный и с головы до ног мокрый рикша, возбужденный еще и надеждой получить целую кучу центов. В самый истомный час послеполуденного тепла и света, когда, посидев две минуты на скамье под деревом, оставляешь на ней темный круг пота, он в угоду англичанину, не знавшему, как дотянуть до обеда, пробежал весь Черный Город, старый, многолюдный, пряно-пахучий, — и много видел полусонный англичанин голых цветных тел и разноцветных тканей на бедрах, много парсов, индусов, желтолицых малайцев, вонючих китайских лавок, черепичных и тростниковых крыш, храмов, мечетей и капищ, праздных матросов из Европы и буддийских монахов — бритых, худых, с

безумными глазами, в канареечных тогах, с обнаженным правым плечом и опахалами из листвы священной пальмы. Рикша и его седок неслись среди этой тесноты и грязи Древнего Востока быстро, быстро, точно спасались от кого-то, — вплоть до самой реки Келани, узкой, густой и глубокой, перегретой солнцем, полуприкрытой непролазными зелеными зарослями, низко склонившимися с ее берегов, любимой крокодилами, все дальше, однако, уходящими в глубь девственных лесов от барж с соломенными сводами, нагруженных тюками чая, рисом, корицей, еще не обработанными драгоценными камнями и особенно медлительно плывущих в густом блеске предвечернего солнца... Потом англичанин приказал вернуться в Форт, уже опустевший, закрывший все свои конторы, агентства и банки, побрился в циркульне и неприятно помолодел, покупал сигары, заходил в аптеку... Рикша, мокрый, похудевший, смотрел на него уже неприязненно, глазами собаки, чувствующей приступы бешенства... В шестом часу, пробежав мимо маяка в конце Квинс-Стрит, пробежав тихие и чистые военные кварталы, он выскочил на берег океана, вольно глянувшего ему в глаза своим простором и зелено-золотистым гляncем от низкого солнца, и побежал к Невольничьему Острову.

Все отели в Форте были полны, англичанин жил в простом, за Невольничьим Островом, — и тут еще раз пробежал рикша мимо баниана, под который сел он нынче утром в жажде заработка от этих беспощадных и загадочных белых людей, в упрямой надежде на счастье. Пошли сплошные сады, каменные ограды и голландские крыши бунгалов, низких, приземистых. Вскочив во двор одного такого бунгалов, рикша с полчаса отдыхал возле широкой террасы, пока англичанин переодевался к обеду. Сердце у него колотилось, как у отравленного, губы побелели, черты темно-коричневого лица обострились, прекрасные глаза еще

больше почернели и расширились. Запах его разгоряченного тела стал неприятен — это был запах теплого чая, смешанного с кокосовым маслом и еще с чем-то, как если взять и растереть в руках кучку муравьев.

Солнце меж тем закатилось. Пожилая девушка полулежала под навесом террасы в качалке, читая при последнем свете дня молитвенник. Увидя ее с улицы, во двор бесшумно вошел немой индус из Мадуры, высокий черный старик с седыми кудрями на груди и на животе, худой, как скелет, в нищенском тюрбане, в длинном переднике из ткани, бывшей когда-то красной, в желтых поперечных полосках. На руке у старика была закрытая корзина из пальмового лыка. Подойдя к террасе, он подобострастно поклонился, приложив руку ко лбу, и присел на землю, поднимая крышку корзины. Не глядя на него, лежавшая в качалке махнула рукой. Но он уже вынимал из-за пояса тростниковую дудку. И рикша вдруг вскочил на ноги и в непонятной ярости громко крикнул на него. Вскочил и старик, захлопнул корзину и, оборачиваясь, побежал к воротам. Но у рикши еще долго были круглые глаза, — совсем как у той, страшной, которую он представлял себе — медленно, тугим жгутом выползающую из корзины и с шипением раздувающую свое голубым отблеском мерцающее горло. Быстро падала темнота — уже в темноте вышел на террасу размытый, в белом смокинге англичанин. И рикша покорно кинулся к оглоблям. Была уже ночь, особенно жаркая, как всегда перед наступлением дождей, еще более пахучая, чем день. Еще гуще стал теплый и приторный аромат мускуса, смешанный с запахом теплой земли, тучной от цветочного перегноя. Так было черно среди садов, где бежал рикша, что только по тяжелому дыханию и по скудному фонарику на оглобле можно было понять, что несется впереди встречный. Потом слабо замерцала под черными навесами деревьев гнилая

лагуна, закраснели огни, длинно отражавшиеся в ней. Большой двухэтажный дом насквозь светился в этой тропической черноте прорезами окон. Во дворе было темно. Много рикш, сливавшихся с темнотой своими телами и слабо белевших передниками, набежало в этот двор с гостями. А большой, открытый на лагуну балкон сиял свечами в стеклянных колпаках, осыпанных несметной мошкой, блестел скатертью длинного стола, уставленного посудой, бутылками и вазами со льдом, и белел смокингами сидевших, которые немолчно, хотя и сдержанно, бормотали себе в горло, меж тем как босоногие полные слуги, похожие на няnek, шуршали голыми подошвами, прислуживая им, а громадная китайская циновка, ребром привешенная над ними к потолку, все махалась и махалась, приводимая в движение малайцами, сидевшими за стеной, не доходящей до потолка, и все веяла, веяла ветром на обедающих, на их холодные, мокрые лбы. Рикша номер седьмой подлетел к балкону. Сидевшие за столом приветствовали запоздавшего гостя радостным ропотом. Гость выскочил из колясочки и вбежал на балкон. А рикша понесся вокруг дома, чтобы опять попасть к воротам, во двор, к другим рикшам, и, обегая дом, вдруг так шарахнулся назад, точно его ударили в лицо палкой: стоя возле открытого и освещенного окна второго этажа, — в японском халатике красного шелка, в тройном ожерелье из рубинов, в золотых широких браслетах на обнаженных руках, — на него глядела круглыми сияющими глазами его невеста, та самая девочка-женщина, с которой он уже уговорился полгода тому назад обменяться шариками из риса! Его, внизу, в темноте, она не могла видеть. Но он сразу узнал ее — и, отшатнувшись, застыл на месте.

Он не упал, сердце его не разорвалось, оно было слишком молодо и сильно. Постояв с минуту, он присел на землю, под вековой смоковницей, вся вершина

которой, как райское дерево, горела и трепетала россыпью огненно-зеленых искр. Он долго смотрел на черную круглую головку, на красный шелк, свободно обнимавший маленькое тело, и на поднятые, поправлявшие прическу руки той, что стояла в раме окна. Он сидел на корточках до тех пор, пока она не повернулась и не прошла в глубину комнаты. А когда она скрылась, он мгновенно вскочил на ноги, поймал на земле оглобли и, птицей пролетев через двор за ворота, опять, опять пустился бежать — на этот раз уже твердо зная, куда и зачем он бежит, и уже сам управляя своей сразу освободившейся волей.

— Проснись, проснись! — кричали в нем тысячи беззвучных голосов его печальных, стократ истлевших в этой райской земле предков. — Страхни с себя обольщения Мары, сон этой краткой жизни! Тебе ли спать, отравленному ядом, пронзенному стрелой? Стократно страдает имеющий стократно милое, все скорби, все жалобы — от любви, от привязанностей сердца — убей же их! Недолгий срок пребудешь ты в покое отдыха, снова и снова, в тысяче воплощений, исторгнет тебя твоя эдемская земля, приют первых людей, познавших желание, но он, этот краткий отдых, все же настанет для тебя, слишком рано выбежавшего на дорогу жизни, страстно погнавшегося за счастьем и раненого самой острой стрелой — жадной любви и новых зачатий для этого древнего мира, где от века победитель крепкой пятой стоит на горле побежденного!

Показались под черными навесами сросшихся вершинами деревьев огни в открытых лавочках Невольничьего Острова. Рикша жадно съел в одной из них чашечку теплого вареного риса, пересыщенного перцем, и кинулся дальше. Он знал, где живет старик из Мадур, час тому назад приходивший во двор отеля: он жил вместе со своим племянником, при его большой фруктовой лавке, в низком доме с толстыми дере-

пьянными колоннами. Племянник, в грязной европейской одежде из полотна, с громадным колтуном черной вьющейся шерсти на голове, перетаскивал корзины с плодами в глубину лавки, морщась от дыма папиросы, прилепленной к его нижней губе. Он не обратил внимания на бешеный вид мокрого, горячего рикши. И рикша молча вскочил под навес среди столбов, ногой толкнул в глубине под ним дверку, за которой надеялся найти немого старика. В потной руке он крепко держал заветный золотой, который он еще на бегу достал из-за передника, из кожаного гамана, привешенного к поясу. И золотой быстро сделал свое дело: назад рикша выскочил с большой коробкой от сигар, перевязанной шнурком. Он заплатил за нее большую цену, зато она была не пустая: то, что в ней лежало, билось, извивалось, стучало в крышку тугими кольцами и шуршало.

Зачем он захватил в собой колясочку? А он таки захватил ее — и ровным, сильным махом полетел на берег океана, на плац Голь-Фэса. Плац был пуст, далеко темнел в звездном свете. За ним были рассыпаны редкие огоньки Форты, и в небе медленно вращалась мутно-зеркальная вышка маяка, кидавшая дымные полосы белого света только в сторону рейда. Слабый прохладный ветер тянул с океана, ровный, сонный шум которого был чуть слышен. Добежав до прибрежья, до середины дороги, рикша в последний раз бросил тонкие оглобли, в которые рано, но ненадолго впрягла его жизнь, и сел уже не на землю, а на скамью, сел смело, как резидент.

Он, отдавая индусу целый фунт, требовал самую маленькую и самую сильную, самую смертоносную. И она была, — помимо того, что сказочно-красива, вся в черных кольцах с зелеными каемками, с голубой головой, с изумрудной полосой на затылке и траурным хвостом, — она была, при всей своей малости, нео-



быкновенно сильна и злобна, а теперь, после того, как ее помотали в деревянной пахучей коробке, особенно. Она, вероятно, как стальная, пружинила, извивалась, шуршала и стучала в крышку. И он быстро развязал, распутал шнурок... Впрочем, кто узнает, как именно сделал он свое страшное дело? Известно лишь то, что укус ее огненно жгуч и с головы до ног пронзает все тело человека несказанной болью, такой, что после него даже обезьяны раздражаются рыданиями. И нет сомнения, что, ощутив этот огненный удар, рикша колесом перевернулся на скамье, и коробка полетела от него в сторону. А затем тутчас же распахнулась под ним бездонная тьма, и все понеслось перед его глазами куда-то вкось, вверх: и океан, и звезды, и огни города.

Шум океана хлынул ему в голову — и сразу оборвался: глубокий обморок бывает всегда после этого удара. Но вслед за обмороком человек всегда быстро приходит в себя, как будто только затем, чтобы его тяжко, с кровью стошнило — и опять повергло в небытие. Их, этих обмираний, бывает несколько, и каждое из них, ломая человека, перехватывая ему дыхание, частями уносит человеческую жизнь, человеческие способности: мысль, память, зрение, слух, боль, горе, радость, ненависть — и то последнее, всеобъемлющее, что называется любовью, жадной вместить в свое сердце весь зримый и незримый мир и вновь отдать его кому-то.

Дней через десять, в темные, жаркие сумерки перед грозой, к большому русскому пароходу, готовому отплыть в Суэц, две пары гребцов гнали в гавани Коломбо шлюпку, в которой полулежал седок рикши номер седьмой. Пароход уже гудел от грохота якорной цепи, когда, выскочив возле громадной железной стены паровозного бока, взбежал он по длинному

трапу на палубу. Капитан сперва наотрез отказался принять его: пароход грузовой, заявил он, агент уже уехал, — это невозможно. «Но я чрезвычайно, чрезвычайно прошу вас!» — возразил англичанин. Капитан с удивлением взглянул на него: на вид крепок, энергичен, но на лице налет нездорового загара, а глаза за блестящими очками стоячие, как будто ничего не видящие и беспокойные. «Подождите до послезавтра, — сказал капитан, — послезавтра будет немецкий почтовый пароход». — «Да, но провести еще две ночи в Коломбо мне очень трудно, — ответил англичанин. — Этот климат изнуряет меня, я болен. Я измучен этими цейлонскими ночами, бессонницей и всем тем, что чувствует всякий нервный человек перед заходящими грозами. А взгляните на эту тьму, на тучи, заступившие все горизонты: ночь опять будет ужасная, период дождей, собственно, уже начался». И, пожав плечами, подумав, капитан уступил. И через минуту тонкие, как ужи, сингалезы уже тащили по трапу сундук в черной лакированной коже, весь испещренный разноцветными этикетками отелей и помеченный красными инициалами.

Свободная докторская каюта, которую предложили англичанину, была очень тесна и душна. Но англичанин нашел ее прекрасной. На скорую руку разложивши в ней вещи, он вышел через столовую на верхнюю палубу. Все быстро тонуло в темноте. Пароход уже снялся и поворачивал к открытому морю. Справа как бы плыли на него другие пароходы, огни на мачтах, огни Форта. Слева, из-под высокого борта, зыбко неслась к низменному берегу, к складам угля и к черной гуще тонкоствольных кокосовых лесов гладь темной воды, еще отражавшей тьму и печаль туч, и своим зыбким стремлением кружила голову. Все меняя направление, все туже дул откуда-то влажный, тошнотворно-благоуханный, мягкий ветер. Внезапно мол-

чаливые тучи распахнулись такой бездной бледно-голубого света, что в самой глубине лесов мелькнули озаренные им стволы пальм, бананов и хижин под ними. Англичанин испуганно моргнул, оглянулся на плывущий уже слева от него бледный мол с красным огоньком на конце, на свинцовую даль океана за молом — и быстро пошел назад, в каюту.

Старик-лакей, человек злой от усталости, без нужды подозрительный и наблюдательный, несколько раз заглядывал перед обедом за ее занавеску. Англичанин сидел в складном холщовом кресле, держа на коленях толстую тетрадь в кожаном переплете, писал в ней золотым пером, и выражение его лица, когда он поднимал его, блестя очками, было и тупо, и вместе с тем удивленно. Потом, спрятав перо, он задумался, как бы слушая шум и шорох волн, тяжело несущихся за стеной каюты. Лакей прошел мимо, мотая громко звенящим колокольчиком. Англичанин встал и догола разделся. С ног до головы обтершись губкой, насыщенной водой с одеколоном, он выбрился, подровнял короткие толстые усы, причесал щетками свои черные волосы на косою ряд, надел свежее белье, смокинг и пошел к обеду с обычным своим решительным, солдатским видом.

Моряки, уже давно сидевшие за столом и бранившие его за опоздание, встретили его преувеличенно любезно, друг пред другом щеголяя знанием английского языка. Он ответил им сдержанной, но не меньшей любезностью и поспешил сказать, что ему очень нравится русский стол, что он был в России, в Сибири... что он вообще много путешествовал и всегда прекрасно переносил путешествия, чего, однако, нельзя сказать о его последнем пребывании в Индии, на Яве и на Цейлоне: тут он захворал печенью, расстроил себе нервы, дошел даже до странностей — вот вроде той, которую он проявил час тому назад, так неожиданно

явившись на пароход... За кофе он угощал моряков коньяком и ликерами, принес коробку толстых египетских папирос и поставил ее на стол открытой, для общего пользования. Капитан, человек с умными и твердыми глазами, во всем старающийся быть европейцем, завел речь о колониальных задачах Европы, о японцах, о будущем Дальнего Востока. Внимательно слушая, англичанин возражал, соглашался. Говорил он складно и не просто, а так, точно читал хорошо написанную статью. И порою внезапно смолкал, еще внимательнее прислушиваясь к шороху волн за открытыми дверями. От грозы ушли. Давно потонула в черном бархате долго переливавшая алмазами цепь огней Коломбо. Теперь пароход был в безграничной тьме, в пустоте океана и ночи. Столовая помещалась на палубе, под капитанским мостиком. И тьма резко чернила в открытых дверях и окнах, стояла и глядела в ярко освещенную столовую. Влажно дуло из этой тьмы — влажным, свободным дыханием чего-то от века свободного, и свежесть, доходя до сидящих за столом, давала им чувствовать запах табачного дыма, горячего кофе и ликеров. Но порою свет электричества вдруг падал — двери, окна мелькали бледно-синими квадратами: беззвучно и несказанно широко распахивалась вокруг парохода голубая бездна бездн, блистала текучая зыбь водных пространств, угольной чернотой заливало горизонты — и оттуда, как тяжкий ропот самого творца, еще погруженного в довременный хаос, доходил глухой, мрачный и торжественный, все до основания потрясающий гул грома. И тогда англичанин как бы каменел на минуту.

— В сущности, это страшно! — сказал он своим мертвым, но твердым голосом после одного особенно ослепительного сполоха. И, встав с места, подошел к двери, зиявшей темнотой. — Очень страшно, — сказал он, как бы разговаривая сам с собой. — И

страшнее всего то, что мы не думаем, не чувствуем и не можем, разучились чувствовать, как это страшно.

— Что именно? — спросил капитан.

— А вот хотя бы то, — ответил англичанин, — что под нами и вокруг нас бездонная глубина, та зыбкая хлябь, о которой так ужасно говорит Библия... О, — строго сказал он, вглядываясь в темноту, — и вблизи и вдали, всюду загораются борозды зеленой огненной пены, и чернота вокруг этой пены черно-лиловая, цвета воронова крыла... Это очень жутко — быть капитаном? — серьезно спросил он.

— Нет, почему же, — ответил капитан с притворной небрежностью. — Дело ответственное, но... Все зависит от привычки...

— Скажите лучше — от нашей тупости, — сказал англичанин. — Стоять вон там, на вашем мостике, по бокам которого мутно глядят сквозь толстое стекло два этих больших глаза, зеленый и красный, и идти куда-то в тьму ночи и воды, простирающейся на тысячи миль вокруг, — это безумие! Но, впрочем, не лучше, — прибавил он, опять заглядывая в двери, — не лучше и лежать внизу, в каюте, за тончайшей стеной которой, возле самой твоей головы, всю ночь шумит, кипит эта бездонная хлябь... Да, да, разум наш так же слаб, как разум крота, или, пожалуй, еще слабей, потому что у крота, у зверя, у дикаря хоть инстинкт сохранился, а у нас, у европейцев, он выродился, вырождается!

— Однако кроты не плавают по всему земному шару, — усмехаясь, ответил капитан. — Кроты не пользуются паром, электричеством, беспроводным телеграфом... Вот хотите — я буду сейчас говорить с Аденем? А ведь до него десять дней ходу.

— И это страшно, — сказал англичанин и строго взглянул сквозь очки на засмеявшегося механика. — Да, и это очень страшно. А мы, в сущности, ничего не

боимся. Мы даже смерти не боимся по-настоящему: ни жизни, ни тайн, ни бездн, нас окружающих, ни смерти — ни своей собственной, ни чужой! Я участник бурской войны, я, приказывая стрелять из пушек, убивал людей сотнями — и вот не только не страдаю, не схожу с ума, что я убийца, но даже не думаю о них никогда.

— А звери, дикари — думают? — спросил капитан.

— Дикари верят, что так надо, а мы нет, — сказал англичанин и замолчал, пошел ходить по столовой, стараясь ступать тверже.

Сполохи, уже розовые, мелькавшие по звездам, слабели. Ветер дул в окна и двери сильнее и прохладнее, черная тьма за дверями шумела тяжелее. Большая раковина, пепельница, ползала по столу. Чувствовалось под неприятно слабеющими ногами, как снизу что-то нарастает, приподнимает, потом валит на бок, расступается — и пол все глубже уходит из-под ног. Моряки, допив кофе, накурившись, сдерживая зевоту и поглядывая на своего странного пассажира, посидели, помолчали еще несколько минут, потом, желая ему покойной ночи, стали братья за фуражки. Остался один капитан. Он курил и водил за англичанином глазами. Англичанин, с сигарой, качаясь, ходил от двери к двери, раздражая своей серьезностью, соединенной с рассеянностью, старика-лакея, убиравшего со стола.

— Да, да, — сказал он, — нам страшно только то, что мы разучились чувствовать страх! Бога, религии в Европе давно уже нет, мы, при всей своей деловитости и жадности, как лед холодны и к жизни, и к смерти: если и боимся ее, то рассудком или же только остатками животного инстинкта. Иногда мы даже стараемся внушать себе эту боязнь, увеличить ее — и все же не воспринимаем, не чувствуем в должной мере... вот, как не чувствую и я того, что сам же назвал страшным, — сказал он, показывая на открытую дверь, за которой

шумела черная темнота, уже высоко поднимавшая с носа и валившая скрипящий персборками пароход то на один, то на другой бок.

— Это на вас Цейлон так подействовал, — заметил капитан.

— О, несомненно, несомненно! — согласился англичанин. — Мы все, — коммерсанты, техники, военные, политики, колонизаторы, — мы все, спасаясь от собственной тупости и пустоты, бродим по всему миру и силится восхищаться то горами и озерами Швейцарии, то нищетой Италии, ее картинами и обломками статуй или колонн, то бродим по скользким камням, уцелевшим от каких-то амфитеатров в Сицилии, то глядим с притворным восторгом на желтые груды Акрополя, то присутствуем, как при балаганном зрелище, при раздаче священного огня в Иерусалиме, платим бешеные деньги за то, чтобы терпеть мучения от проводников и блох в могильниках и глиняных капищах Египта, плывем в Индию, в Китай, в Японию — и вот только здесь, на земле древнейшего человечества, в этом потерянном нами эдеме, который мы называем нашими колониями и жадно ограбляем, среди грязи, чумы, холеры, лихорадок и цветных людей, обращенных нами в скотов, только здесь чувствуем в некоторой мере жизнь, смерть, божество. Здесь, оставшись равнодушным ко всем этим Озирисам, Зевсам, Аполлонам, к Христу, к Магомету, я не раз чувствовал, что мог бы поклоняться разве только им, этим страшным богам нашей прародины, — сторукому Бrame, Шиве, Дьяволу, Будде, слово которого раздавалось поистине как глагол самого Мафусаила, вбивающего гвозди в гробовую крышку мира... Да, только благодаря Востоку и болезням, полученным мной на Востоке, благодаря тому, что в Африке я убивал людей, в Индии, ограбляемой Англией, а значит, отчасти и мною, видел тысячи умирающих с голо-

ду, в Японии покупал девочек в месячные жены, в Китае бил палкой по головам беззащитных обезьяноподобных стариков, на Яве и на Цейлоне до предсмертного хрипа загонял рикш, в Анарадхапуре получил в свое время жесточайшую лихорадку, а на Малабарском берегу болезнь печени, — только благодаря всему этому я еще кое-что чувствую и думаю. Те страны, тех несметных людей, что еще живут или младенчески-непосредственной жизнью, всем существом своим ощущая и бытие, и смерть, и божественное величие вселенной, или уже прошли долгий и трудный путь, исторический, религиозный и философский, и устали на этом пути, мы, люди нового железного века, стремимся поработить, поделить между собою, и называем это нашими колониальными задачами. И когда этот дележ придет к концу, тогда в мире опять воцарится власть какого-нибудь нового Тира, Сидона, нового Рима, английского или немецкого, повторится, непременно повторится и то, что предрекли Сидону, возомнившему себя, по слову Библии, богом, иудейские пророки, Риму — Апокалипсис, а Индии, арийским племенам, поработившим ее, — Будда, говоривший: «О, вы, князья, властвующие, богатые сокровищами, обращающие друг против друга жадность свою, ненасытно потворствующие своим похотям!» Будда понял, что значит жизнь Личности в этом «мире бывания», в этой вселенной, которой мы не постигаем, — и ужаснулся священным ужасом. Мы же возносим нашу Личность превыше небес, мы хотим сосредоточить в ней весь мир, что бы там ни говорили о грядущем всемирном братстве и равенстве, — и вот только в океане, под новыми и чуждыми нам звездами, среди величия тропических гроз, или в Индии, на Цейлоне, где в черные знойные ночи, в горячечном мраке, чувствуешь, как тает, растворяется человек в этой черноте, в звуках, запахах, в этом страшном Все-Едином, — только там

понимаем в слабой мере, что значит эта наша Личность... Знаете ли вы, — сказал он, останавливаясь и блестя очками на капитана, — буддийскую легенду?

— Какую? — спросил капитан, уже тайком зевнувший и посмотревший на часы.

— А вот такую: ворон кинулся за слоном, бежавшим с лесистой горы к океану; все сокрушая на пути, ломая заросли, слон обрушился в волны — и ворон, томимый «желанием», пал за ним и, выждав, пока он захлебнулся и вынырнул из волн, опустил на его ушастую тушу; туша плыла, разлагаясь, а ворон жадно клевал ее; когда же очнулся, то увидел, что отнесло его на этой туше далеко, туда, откуда даже на крыльях чайки нет возврата, — и закричал жалким голосом, тем, которого так чутко ждет Смерть... Ужасная легенда!

— Да, это ужасно, — сказал капитан.

Англичанин замолчал и опять пошел от двери к двери. Из шумящей темноты слабо донеслись отрывистые, печальные звуки второй склянки. Капитан, посидев из приличия еще минут пять, поднялся, пожал руку англичанину и пошел в свою большую покойную каюту. Англичанин, что-то думая, продолжал ходить. Лакей, протомившись в буфете еще с полчаса, вошел и с сердитым лицом стал тушить электричество, оставил только один рожок. Англичанин, когда лакей скрылся, подошел к стене, потушил и этот рожок. Сразу пал мрак, шум волн сразу стал как будто слышнее, и сразу раскрылись в окнах звездное небо, мачты, реи. Пароход скрипел и лез с одной водяной горы на другую. Он размахивался все шире, подымаясь и опускаясь, — и в снастях широко носились, летая то в бездну кверху, то в бездну книзу, Канопус, Ворон, Южный Крест, по которым еще мелькали розовые сполохи.

## ГРАММАТИКА ЛЮБВИ

Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда.

Тарантас с кривым пыльным верхом дал ему шурин, в имении которого он проводил лето. Тройку лошадей, мелких, но справных, с густыми сбитыми гривами, нанял он на деревне, у богатого мужика. Правил ими сын этого мужика, малый лет восемнадцати, тупой, хозяйственный. Он все о чем-то недовольно думал, был как будто чем-то обижен, не понимал шуток. И, убедившись, что с ним не разговоришься, Ивлев отдался той спокойной и бесцельной наблюдательности, которая так идет к ладу копыт и гроыханию бубенчиков.

Ехать сначала было приятно: теплый, тусклый день, хорошо накатанная дорога, в полях множество цветов и жаворонков; с хлебов, с невысоких сизых ржей, простирившихся насколько глаз хватит, дул сладкий ветерок, нес по их косякам цветочную пыль, местами дымил ею, и вдаль от нее было даже туманно. Малый, в новом картузе и неуклюжем люстриновом пиджаке, сидел прямо; то, что лошади были всецело вверены ему и что он был наряжен, делало его особенно серьезным. А лошади кашляли и не спеша бежали, валеком левой пристяжки порою скреб по колесу, порою натя-

гивался, и все время мелькала под ним белой сталью стертая подкова.

— К графу будем заезжать? — спросил малый, не оборачиваясь, когда впереди показалась деревня, замыкавшая горизонт своими лозинами и садом.

— А зачем? — сказал Ивлев.

Малый помолчал и, сбив кнутом прилипшего к лошади крупного овода, сумрачно ответил:

— Да чай пить...

— Не чай у тебя в голове, — сказал Ивлев. — Все лошадей жалеешь.

— Лошадь езды не боится, она корму боится, — ответил малый наставительно.

Ивлев поглядел кругом: погода поскучнела, со всех сторон натянуло линючих туч и уже накрапывало — эти скромные деньки всегда оканчиваются окладными дождями... Старик, пахавший возле деревни, сказал, что дома одна молодая графиня, но все-таки заехали. Малый натянул на плечи армяк и, довольный тем, что лошади отдыхают, спокойно мок под дождем на козлах тарантаса, остановившегося среди грязного двора, возле каменного корыта, вросшего в землю, истыканную копытами скота. Он оглядывал свои сапоги, поправлял кнутовищем шлею на кореннике; а Ивлев сидел в темнеющей от дождя гостинной, болтал с графиней и ждал чая; уже пахло горячей лучиной, густо плыл мимо открытых окон зеленый дым самовара, который босая девка набивала на крыльце пуками ярко пылающих кумачным огнем щепок, обливая их керосином. Графиня была в широком розовом капоте, с открытой напудренной грудью; она курила, глубоко затягиваясь, часто поправляла волосы, до плечей обнажая свои тугие и круглые руки; затягиваясь и смеясь, она все сводила разговор на любовь и между прочим рассказывала про своего близкого соседа, помещика Хвощинского, который, как знал Ивлев еще с детства,

всю жизнь был помешан на любви к своей горничной Лушке, умершей в ранней молодости. «Ах, эта легендарная Лушка! — заметил Ивлев шутливо, слегка конфузясь своего признания. — Оттого, что этот чудак обоготворил ее, всю жизнь посвятил сумасшедшим мечтам о ней, я в молодости был почти влюблен в нее, воображал, думая о ней, бог знает что, хотя она, говорят, совсем нехороша была собой». «Да? — сказала графиня, не слушая. — Он умер нынешней зимой. И Писарев, единственный, кого он иногда допускал к себе по старой дружбе, утверждает, что во всем остальном он несколько не был помешан, и я вполне верю этому — просто он был не теперешним чета...» Наконец босая девка с необыкновенной осторожностью подала на старом серебряном подносе стакан крепкого сивого чая из прудовки и корзиночку с печеньем, засиженным мухами.

Когда поехали дальше, дождь разошелся уже по-настоящему. Пришлось поднять верх, закрыться каляным, ссохшимся фартуком, сидеть согнувшись. Громыхали глухарями лошади, по их темным и блестящим ляжкам бежали струйки, под колесами шуршали травы какого-то рубежа среди хлебов, где малый поехал в надежде сократить путь, под верхом собирался теплый ржаной дух, мешавшийся с запахом старого тарантаса... «Так вот оно что, Хвоцинский умер, — думал Ивлев. — Надо непременно заехать, хоть взглянуть на это опустевшее святилище таинственной Лушки... Но что за человек был этот Хвоцинский? Сумасшедший или просто какая-то ошеломленная, вся на одном сосредоточенная душа?» По рассказам стариков-помещиков, сверстников Хвоцинского, он когда-то слыл в уезде за редкого умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потом неожиданная смерть ее, — и все пошло прахом: он затворился в доме, в той комнате, где жила и умерла

Лушка, и больше двадцати лет просидел на ее кровати — не только никуда не выезжал, а даже у себя в усадьбе не показывался никому, насквозь просидел матрац на Лушкиной кровати и Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире: гроза заходит — это Лушка насылает грозу, объявлена война — значит, так Лушка решила, неурожай случился — не угодили мужики Лушке...

— Ты на Хвощинское, что ли, едешь? — крикнул Ивлев, высовываясь под дождь.

— На Хвощинское, — невнятно отозвался сквозь шум дождя малый, с обвисшего картуза которого текла вода. — На Писарев верх...

Такого пути Ивлев не знал. Места становились все беднее и глуше. Кончился рубеж, лошади пошли шагом и спустили покосившийся тарантас размытой колдобиной под горку, в какие-то еще не кошенные луга, зеленые скаты которых грустно выделялись на низких тучах. Потом дорога, то пропадая, то возобновляясь, стала переходить с одного бока на другой по днищам оврагов, по буеракам в ольховых кустах и верболозах... Была чья-то маленькая пасека, несколько колодок, стоявших на скате в высокой траве, краснеющей земляникой... Объехали какую-то старую плотину, потонувшую в крапиве, и давно высохший пруд — глубокую яругу, заросшую бурьяном выше человеческого роста... Пара черных куличков с плачем метнулась из них в дождливое небо... А на плотине, среди крапивы, мелкими бледно-розовыми цветочками цвел большой старый куст, то милое деревцо, которое зовут «божиим деревом», — и вдруг Ивлев вспомнил места, вспомнил, что не раз ездил тут в молодости верхом...

— Говорят, она тут утопилась-то, — неожиданно сказал малый.

— Ты про любовницу Хвощинского, что ли? —



спросил Ивлев. — Это неправда, она и не думала топиться.

— Нет, утопилась, — сказал малый. — Ну, только думается, он скорей всего от бедности от своей сшел с ума, а не от ней...

И, помолчав, грубо прибавил:

— А нам опять надо заезжать... в это, в Хвоцино-то... Ишь как лошади-то уморились!

— Сделай милость, — сказал Ивлев.

На бугре, куда вела оловянная от дождевой воды дорога, на месте сведенного леса, среди мокрой, гниющей щелы и листвы, среди пней и молодой осиновой поросли, горько и свежо пахнувшей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругом, — только овсянки, сидя под дождем на высоких цветах, звенели на весь редкий лес, поднимавшийся за избюю, но, когда тройка, шлепая по грязи, поравнялась с ее порогом, откуда-то вырвалась целая орава громадных собак, черных, шоколадных, дымчатых, и с яростным лаем закипела вокруг лошадей, взвиваясь к самым их мордам, на лету перевертываясь и прядая даже под верх тарантаса. В то же время и столь же неожиданно небо над тарантасом расколосось от оглушительного удара грома, малый с остервенением кинулся драть собак кнутом, и лошади вскачь понесли среди замелькавших перед глазами осиновых стволов...

За лесом уже видно было Хвоцинское. Собаки отстали и сразу смолкли, деловито побежали назад, лес расступился, и впереди опять открылись поля. Вечерело, и тучи не то расходились, не то заходили теперь с трех сторон: слева — почти черная, с голубыми просветами, справа — седая, грохочущая непрерывным громом, а с запада, из-за хвоцинской усадьбы, из-за косогоров над речной долиной, — мутно-синяя, в пыльных полосах дождя, сквозь которые розовели горы дальних облаков. Но над тарантасом дождь

редел, и, приподнявшись, Ивлев, весь закиданный грязью, с удовольствием завалил назад отяжелевший верх и свободно вздохнул пахучей сыростью поля.

Он глядел на приближающуюся усадьбу, видел наконец то, о чем слышал так много, но по-прежнему казалось, что жила и умерла Лушка не двадцать лет тому назад, а чуть ли не во времена незапамятные. По долине терялся в куге след мелкой речки, над ней летала белая рыбалка. Дальше, на полугоре, лежали ряды сена, потемневшие от дождя; среди них, далеко друг от друга, раскидывались старые серебристые тополи. Дом, довольно большой, когда-то беленый, с блестящей мокрой крышей, стоял на совершенно голом месте. Не было кругом ни сада, ни построек, — только два кирпичных столба на месте ворот да лопухи по канавам. Когда лошади вброд перешли речку и поднялись на гору, какая-то женщина в летнем мужском пальто, с обвисшими карманами, гнала по лопухам индюшек. Фасад дома был необыкновенно скучен: окон в нем было мало, и все они были невелики, сидели в толстых стенах. Зато огромны были мрачные крыльца. С одного из них удивленно глядел на подъезжающих молодой человек в серой гимназической блузе, подпоясанной широким ремнем, черный, с красивыми глазами и очень миловидный, хотя лицо его было бледно и от веснушек пестро, как птичье яйцо.

Нужно было чем-нибудь объяснить свой заезд. Поднявшись на крыльцо и назвав себя, Ивлев сказал, что хочет посмотреть и, может быть, купить библиотеку, которая, как говорила графиня, осталась от покойного, и молодой человек, густо покраснев, тотчас повел его в дом. «Так вот это и есть сын знаменитой Лушки!» — подумал Ивлев, окидывая глазами все, что было на пути, и часто оглядываясь и говоря что

попало, лишь бы лишний раз взглянуть на хозяина, который казался слишком моложав для своих лет. Тот отвечал поспешно, но односложно, путался, видимо, и от застенчивости, и от жадности; что он страшно обрадовался возможности продать книги и вообразил, что сбудет их недешево, сказалося в первых же его словах, в той неловкой торопливости, с которой он заявил, что таких книг, как у него, ни за какие деньги нельзя достать. Через полутемные сени, где была настлана красная от сырости солома, он ввел Ивлева в большую переднюю.

— Тут вот и жил ваш батюшка? — спросил Ивлев, входя и снимая шляпу.

— Да, да, тут, — поспешил ответить молодой человек. — То есть, конечно, не тут... они ведь больше всего в спальне сидели... но, конечно, и тут бывали...

— Да, я знаю, он ведь был болен, — сказал Ивлев. Молодой человек вспыхнул.

— То есть чем болен? — сказал он, и в голосе его послышались более мужественные ноты. — Это все сплетни, они умственно нисколько не были больны... Они только всё читали и никуда не выходили, вот и всё... Да нет, вы, пожалуйста, не снимайте картуз, тут холодно, мы ведь не живем в этой половине...

Правда, в доме было гораздо холоднее, чем на воздухе. В неприветливой передней, оклеенной газетами, на подоконнике печального от туч окна стояла лубяная перепелиная клетка. По полу сам собою прыгал серый мешочек. Наклонившись, молодой человек поймал его и положил на лавку, и Ивлев понял, что в мешочке сидит перепел; затем вошли в зал. Эта комната, окнами на запад и на север, занимала чуть ли не половину всего дома. В одно окно, на золоте расчищающейся за тучами зари, видна была столетняя, вся черная плакучая береза. Передний угол весь был занят божницей без стекол, уставленной и увешанной образами; среди

них выделялся и величиной и древностью образ в серебряной ризе, и на нем, желтея воском, как мертвым телом, лежали венчальные свечи в бледно-зеленых бантах.

— Простите, пожалуйста, — начал было Ивлев, превозмогая стыд, — разве ваш батюшка...

— Нет, это так, — пробормотал молодой человек, мгновенно поняв его. — Они уже после ее смерти купили эти свечи... и даже обручальное кольцо всегда носили...

Мебель в зале была топорная. Зато в простенках стояли прекрасные горки, полные чайной посудой и узкими, высокими бокалами в золотых ободках. А пол весь был устлан сухими пчелами, которые щелкали под ногами. Пчелами была усыпана и гостиная, совершенно пустая. Пройдя ее и еще какую-то сумрачную комнату с лежанкой, молодой человек остановился возле низенькой двери и вынул из кармана брюк большой ключ. С трудом повернув его в ржавой замочной скважине, он распахнул дверь, что-то пробормотал, — и Ивлев увидел каморку в два окна; у одной стены ее стояла железная голая койка, у другой — два книжных шкафчика из карельской березы.

— Это и есть библиотека? — спросил Ивлев, подходя к одному из них.

И молодой человек, поспешив ответить утвердительно, помог ему растворить шкафчик и жадно стал следить за его руками.

Престранные книги составляли эту библиотеку! Раскрывал Ивлев толстые переплеты, отворачивал шершавую серую страницу и читал: «Заклятое урочище»... «Утренняя звезда и ночные демоны»... «Размышления о таинствах мироздания»... «Чудесное путешествие в волшебный край»... «Новейший сонник»... А руки все-таки слегка дрожали. Так вот чем питалась та одинокая душа, что навсегда затворилась от мира в

этой каморке и еще так недавно ушла из нее... Но, может быть, она, эта душа, и впрямь не совсем была безумна? «Есть бытие, — вспомнил Ивлев стихи Баратынского, — есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бдение, — меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разуменье...» Расчистило на западе, золото глядело оттуда из-за красивых лиловатых облаков и странно озаряло этот бедный приют любви, любви непонятной, в какое-то экзотическое жите превратившей целую человеческую жизнь, которой, может, надлежало быть самой обыкновенной жизнью, не случись какой-то загадочной в своем обаянии Лушки...

Взяв из-под койки скамеечку, Ивлев сел перед шкапом и вынул папиросы, незаметно оглядывая и запоминая комнату.

— Вы курите? — спросил он молодого человека, стоявшего над ним.

Тот опять покраснел.

— Курю, — пробормотал он и попытался улыбнуться. — То есть не то что курю, скорее балуюсь... А, впрочем, позвольте, очень благодарен вам...

И, неловко взяв папиросу, закурил дрожащими руками, отошел к подоконнику и сел на него, загоравшая желтый свет зари.

— А это что? — спросил Ивлев, наклоняясь к средней полке, на которой лежала только одна очень маленькая книжечка, похожая на молитвенник, и стоящая шкатулка, углы которой были обделаны в серебро, потемневшее от времени.

— Это так... В этой шкатулке ожерелье покойной матушки, — запнувшись, но стараясь говорить небрежно, ответил молодой человек.

— Можно взглянуть?

— Пожалуйста... хотя оно ведь очень простое... вам не может быть интересно...

И, открыв шкатулку, Ивлев увидел заношенный шнурок, снизу дешевеньких голубых шариков, похожих на каменные. И такое волнение овладело им при взгляде на эти шарики, некогда лежавшие на шее той, которой суждено было быть столь любимой и чей смутный образ уже не мог не быть прекрасным, что зарябило в глазах от сердцебиения. Насмотревшись, Ивлев осторожно поставил шкатулку на место; потом взялся за книжечку. Это была крохотная, прелестно изданная почти сто лет тому назад «Грамматика любви, или Искусство любить и быть взаимно любимым».

— Эту книжку я, к сожалению, не могу продать, — с трудом проговорил молодой человек. — Она очень дорогая... они даже под подушку ее себе клали...

— Но, может быть, вы позволите хоть посмотреть ее? — сказал Ивлев.

— Пожалуйста, — прошептал молодой человек.

И, преодолевая неловкость, смутно томясь его пристальным взглядом, Ивлев стал медленно перелистывать «Грамматику любви». Она вся делилась на маленькие главы: «О красоте, о сердце, об уме, о знаках любовных, о нападении и защищении, о размолвке и примирении, о любви платонической»... Каждая глава состояла из коротеньких, изящных, порою очень тонких сентенций, и некоторые из них были деликатно отмечены пером, красными чернилами. «Любовь не есть простая эпизода в нашей жизни, — читал Ивлев. — Разум наш противоречит сердцу и не убеждает оного. — Женщины никогда не бывают так сильны, как когда они вооружаются слабостью. — Женщину мы обожаем за то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной. — Тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает. — Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается

владычицей нашего сердца: прежде нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается невольником любви навеки...» Затем шло «изъяснение языка цветов», и опять кое-что было отмечено: «Дикий мак — печаль. Вересклед — твоя прелесть запечатлена в моем сердце. Могильница — сладостные воспоминания. Печальный гераний — меланхолия. Полюнь — вечная горесть»... А на чистой страничке в самом конце было мелко, бисерно написано теми же красными чернилами четверостишие. Молодой человек вытянул шею, заглядывая в «Граматику любви», и сказал с деланной усмешкой:

— Это они сами сочинили...

Через полчаса Ивлев с облегчением простился с ним. Из всех книг он за дорогую цену купил только эту книжечку. Мутно-золотая заря блекла в облаках за полями, отсвечивала в лужах, мокро и зелено было в полях. Малый не спешил, но Ивлев не понукал его. Малый рассказывал, что та женщина, которая давеча гнала по лопухам индюшек, — жена дьякона, что молодой Хвоцинский живет с нею. Ивлев не слушал. Он все думал о Лушке, о ее ожерелье, которое оставило в нем чувство сложное, похожее на то, какое испытал он когда-то в одном итальянском городке при взгляде на реликвии одной святой. «Вошла она навсегда в мою жизнь!» — подумал он. И, вынув из кармана «Граматику любви», медленно перечитал при свете зари стихи, написанные на ее последней странице.

Тебе сердца любивших скажут:  
«В преданьях сладостных живи!»  
И внукам, правнукам покажут  
Сию Граматику Любви.

*Москва. Февраль 1915*

## ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО

Господин из Сан-Франциско — имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил — ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения.

Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук, — китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! — и наконец увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы.

А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо: не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером.

Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, — любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же стучаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям господним приехать в Рим, чтобы слушать там Miserere;<sup>1</sup> входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония, — разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва прекрасно.

Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на громадный отель со всеми удобствами, — с ночным баром, с восточными банями,

<sup>1</sup> «Смилуйся» (лат.).

с собственной газетой, — и жизнь на нем протекала весьма размеренно: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шешфльборд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать — подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху; все палубы были заставлены тогда длинными камышовыми креслами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями; в семь повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его... И тут господин из Сан-Франциско спешил в свою богатую кабину — одеваться.

По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих

таинственных покоев; на баке поминутно взывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двухсветной зале, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шею, как лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью — дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных... Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, — в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, — задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и

эти горы, — точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады, — в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, — та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго — и музыка настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле.

В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлантиды» появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес, — наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный — тем, что крупные усы сквозили у него как у мертвого, в общем же

милый, простой и скромный. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком блеске и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая навстречу трамонтана... Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показались Иския, Капри, в бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь... Многие леди и джентльмены уже надели легкие, мехом вверх шубки; безответные, всегда шепотом говорящие боикитайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры... Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая; он по росту казался среди других мальчиком, он был совсем не хорош собой и странен, — очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована, — но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит; сердце ее билось от непонятого восторга перед ним: все, все в нем было не такое, как у прочих, — его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь; даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско, в серых гетрах на ботинках, все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку и все разговари-

вавшую с нею. И дочь, в какой-то смутной неловкости, старалась не замечать его.

Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша, гигант-командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. А когда «Атлантида» вошла наконец в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, — сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг! И он ухмылялся этим оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски:

— Go away!<sup>1</sup> Via!<sup>2</sup>

Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром — завтрак в сумрачной столовой, облачное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножия окутанный сияющими утренними

<sup>1</sup> Прочь! (англ.)

<sup>2</sup> Прочь! (итал.)

парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу, по набережной, крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой; потом — выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и сырým коридорам улиц, среди высоких, многооконных домов, осмотр мертвенно-чистых и ровно, приятно, но скучно, точно снегом, освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же: величавый вход, закрытый тяжелой кожаной завесой, а внутри — огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чье-нибудь «Снятие со креста», непременно знаменитое; в час — второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно: ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме; в пять — чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов; а там снова приготовления к обеду — снова мощный, властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой, и красные куртки музыкантов на эстраде, и черная толпа лакеев возле метрдотеля, с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп... Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сладостями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков.

Однако декабрь «выдался» не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят, хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное: на Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы, спасаясь от стужи, разбегаются... Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня неизменно серело и начинал сеять дождь да все гуще и холоднее; тогда пальмы у подъезда отеля блестели жемчугом, город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков-извозчиков в резиновых, крыльями развевающихся по ветру накидках — нестерпимо вонючими, энергичное хлопанье их бичей над тонкошеими клячами явно фальшивым, обувь синьоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасною, а женщины, шлепающие по грязи, под дождем с черными раскрытыми головами, — безобразно коротконогими; про сырость же и вонь гнилой рыбой от пенящегося у набережной моря и говорить нечего. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться; дочь их то ходила бледная, с головной болью, то оживала, всем восхищалась и была тогда и мила, и прекрасна: прекрасны были те нежные, сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь, ибо ведь, в конце концов, и не важно, что именно пробуждает девичью душу, — деньги ли, слава ли, знатность ли рода... Все уверяли, что совсем не то в Сорренто, на Капри — там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в

сказочных пещерах Лазурного Грота и послушав абруцских волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы деве Марии, поселиться в Сорренто.

В день отъезда, — очень памятный для семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Острова Капри совсем не было видно — точно его никогда и не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на стору, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледом и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех: ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибегавшая к ней с тазиком, — уже многие годы изо дня в день качавшаяся на этих волнах и в зной и в стужу и все-таки неутомимая, — только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине, в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюстей всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжело болела: последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался «живыми картинами» в некоторых притонах. А дождь сек в дребезжащие стекла, на диваны с них текло, ветер с воем ломил в мачты и порою, вместе с налетавшей волной, клал пароходик совсем набок, и тогда с грохотом катилось что-то вниз. На остановках, в Каstellамаре, в Сорренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями, и дымными, курчаво-зелеными горами летал за окном вниз и вверх, как на качелях; в стены стучались лодки, сырой ветер дул в двери, и, ни

на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый мальчишка, заманивавший путешественников. И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему, — совсем стариком, — уже с тоской и злобой думал обо всех этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами; раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, налпленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние... Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножья красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливающимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь, наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников — и сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсиновых деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой глянцевитой листвы скользивших вниз, под гору, мимо открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого ее острова!

Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут

он на минуту ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке фюникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания, — несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на траты. Господин из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех, и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки, по-птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек — и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая улочка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди. И все было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль.

Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно эlegantный молодой человек, встретивший

их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головою. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...

Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа — Рейс XVII. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку, с тонкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, и самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменявшего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз-метрдетель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, — так закачал его этот дрянной итальянский пароходошко, — но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метрдотеля окно, из которого пахло запахом дальней кухни

и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине залы, что пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил:

— Все, сэр?

И, получив в ответ медлительное «yes»<sup>1</sup>, прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла — танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и «всему миру туристов».

— Я видел ее на открытках, — сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. — А этот Джузеппе — ее муж?

— Двоюродный брат, сэр, — ответил метрдотель.

И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы.

А затем он снова стал точно к венцу готовиться: повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки — из комнат его жены и дочери. И Луиджи, в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешивший горничных, пробежавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью спрашивал:

<sup>1</sup> да (англ.).

— На sonato, signore?<sup>1</sup>

И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос:

— Yes, come in...<sup>2</sup>

Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытывший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений.

Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и прибрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело с полнеющей от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями — черные шелковые носки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную, с выпятившейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, кончикам пальцев было очень больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожу в углублении под кадыком, но он был настойчив и наконец, с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло, не в меру тугого воротничка, таки доделал дело — и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах.

— О, это ужасно! — пробормотал он, спуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно; потом привычно и внимательно огля-

<sup>1</sup> Вы звонили, синьор? (итал.)

<sup>2</sup> Да, входите... (англ.)

дел свои короткие, с подагрическими затвердениями в суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением: — Это ужасно...

Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг. И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале... Эта Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно, подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней, жениной, громко спросил, скоро ли они?

— Через пять минут! — звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос.

— Отлично, — сказал господин из Сан-Франциско.

И не спеша пошел по коридорам и по лестницам, усталым красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешила впереди него изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую мантилу и кинул на столик три лиры; на зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно: из темноты повеяло на него нежным воздухом, померецилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вайи, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря... В читальне, уютной,

хой и светлой только над столами, стоя шуршал  
зетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в  
ребристых круглых очках и с сумасшедшими, изу-  
женными глазами. Холодно осмотрев его, господин  
Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в  
глу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенс-  
е и, дернув головой от душившего его воротничка,  
есь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал  
главия некоторых статей, прочел несколько строк о  
никогда не прекращающейся балканской войне, при-  
вычным жестом перевернул газету, — как вдруг  
строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском,  
шея его напряжилась, глаза выпучились, пенсне сле-  
тело с носа... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воз-  
духа — и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала,  
осветив весь рот золотом пюмб, голова завалилась на  
плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась коро-  
бом — и все тело, извиваясь, задирая ковер каблука-  
ми, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.

Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели  
бы в гостинице замять это ужасное происшествие,  
мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за  
голову господина из Сан-Франциско куда подаль-  
ше — и ни единая душа из гостей не узнала бы, что  
натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком,  
он всполошил весь дом, всю столовую. И многие вска-  
кивали из-за еды, многие, бледнея, бежали к читальне,  
на всех языках раздавалось: «Что, что случилось?» —  
и никто не отвечал толком, никто не понимал ничего,  
так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и  
ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от  
одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и  
успокоить их поспешными заверениями, что это так,  
пустяк, маленький обморок с одним господином из  
Сан-Франциско... Но никто его не слушал, многие  
видели, как лакеи и коридорные срывали с этого гос-

подина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачехлено бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный... Когда его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер, — самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора, — прибежала его дочь, с распущенными волосами, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая и уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса... Но тут он уже и головой перестал мотать.

Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем как хозяин подходил то к тому, то к другому, в бессильном и приличном раздражении пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, «как это неприятно», и давая слово, что он примет «все зависящие от него меры» к устранению неприятности; тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в город, в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой... Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, на которые с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло, хриплое клокотанье, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не госпо-

дин из Сан-Франциско, — его больше не было, — а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось — хрип оборвался. И медленно, медленно, на глазах у всех, потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть...

Вошел хозяин. «Già è morto»<sup>1</sup>, — сказал ему шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату.

— О нет, мадам, — поспешно, корректно, но уже без всякой любезности и не по-английски, а по-французски возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приехавшие из Сан-Франциско. — Это совершенно невозможно, мадам, — сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом и туристы начали бы избегать их.

Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее: если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать; и твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности... Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб, спрашивает мадам? К сожалению, нет, ни в каком случае, а сделать никто

<sup>1</sup> Уже умер (итал.).

не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе... Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках... перегородки из такого ящика можно вынуть...

Ночью весь отель спал. Открыли окно в сорок третьем номере, — оно выходило в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан, — потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел на стене... В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопали. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях.

— Pronto? (Готово?) — озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. — Partenza!<sup>1</sup> — шепотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов, — и горничные, давась беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу.

Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову набок, вполголоса почтительнейше спросил:

— На sonato, signore?

И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери:

— Yes, come in...

А на рассвете, когда побелело за окном сорок третьего номера и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилась

<sup>1</sup> Отправление! (итал.)

против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, — принесли к сорок третьему номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел — и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз, до самого моря. Извозчик, квольый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья, — целую ночь играл в кости в траттории, — и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилийски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенцами на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной седёлки, с аршинным, трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, — тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее, на таком воздухе, среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку, да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною... Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве, которой так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки — и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от слез и бессон-

ной ночи глазами. И через десять минут парходик снова зашумел водой и снова побежал к Сорренто, к Каstellамаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско... И на острове снова водворились мир и покой.

На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокостей сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его, и многие, многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъёмов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и старые американцы и американки, немцы и немки и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам, и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках, дабы подгонять этими палками осликов. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади — рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик-лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам: он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике

повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два абруцских горца. У одного под кожаным плащом была волюнка, — большой козий мех с двумя дудками, у другого — нечто вроде деревянной цевницы. Шли они — и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, мать божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы — и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной...

Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовал из одного

портового сарая в другой, оно снова попало наконец на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых — глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь.

Был он и на другую, и на третью ночь — опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною: той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове.

В самом низу, в подводной утробе «Атлантиды», тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, — kloкотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А середина «Атлантиды», столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу...

*Октябрь 1915*

## СНЫ ЧАНГА

Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле.

Некогда Чанг узнал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах.

Вот опять была ночь — сон или действительность? — и опять наступает утро — действительность или сон? Чанг стар, Чанг пьяница — он все дремлет.

На дворе, в городе Одессе, зима. Погода злая, мрачная, много хуже даже той, китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом, снег косо летит по ледяному, скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево. За гаванью, тоже опустевшей, за туманным от снега заливом слабо видны голые степные берега. Мол весь дымится густым серым дымом: море с утра до вечера переваливается через мол пенистыми чревами. Ветер звонко свищет в телефонных проволоках...

В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпаются и Чанг с капитаном. Шесть лет — много это или мало? За шесть лет Чанг с капитаном

стали стариками, хотя капитану еще и сорока нет, и судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают — живут «на берегу», как говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а в узкой и довольно мрачной улице, на чердаке пятиэтажного дома, пахнущего каменным углем, населенного евреями, из тех, что в семью приходят только к вечеру и ужинают в шляпах на затылок. Потолок у Чанга с капитаном низкий, комната большая и холодная. В ней всегда, кроме того, сумрачно: два окна, пробитые в наклонной стене-крыше, невелики и круглы, напоминают корабельные. Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены налево старая железная кровать; вот и все убранство этого скучного жилища, если не считать камина, из которого всегда дует свежим ветром.

Чанг спит в уголке за камином. Капитан на кровати. Какова эта чуть не до полу продавленная кровать и каков матрас на ней, легко представит себе всякий, живавший на чердаках, а нечистая подушка так жидка, что капитану приходится подкладывать под нее свою тужурку. Однако и на этой кровати спит капитан очень спокойно, лежит, — на спине, с закрытыми глазами и серым лицом, — неподвижно, как мертвый. Что за чудесная кровать была у него прежде! Ладная, высокая, с ящиками, с постелью глубокой и уютной, с тонкими и скользкими простынями и холодящими белоснежными подушками! Но и тогда, даже в качку, не спал капитан так крепко, как теперь: за день он сильно устает, да и о чем ему теперь тревожиться, что он может проспять и чем может обрадовать его новый день? Было когда-то две правды на свете, постоянно сменявших друг друга: первая та, что жизнь несказанно прекрасна, а другая — что жизнь мыслима лишь для сумасшедших. Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только одна правда, последняя, правда еврея Иова, правда мудреца из неве-

домого племени, Экклезиаста. Часто говорит теперь капитан, сидя в пивной: «Помни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них!» Все же дни и ночи по-прежнему существуют, и вот опять была ночь, и опять наступает утро. И капитан с Чангом просыпаются.

Но, проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает, не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленного камина, из которого всю ночь пахло морской свежестью. Чангу известно только одно: то, что капитан пролежит так не менее часа. Чанг, поглядев на капитана уголком глаза, снова смыкает веки и снова задремывает. Чанг тоже пьяница, он тоже по утрам мутен, слаб и чувствует мир с тем томным отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях и страдающим морской болезнью. И потому, задремывая в этот утренний час, Чанг видит сон томительный, скучный...

Видит он:

Поднялся на палубу парохода старый, кислоглазый китаец, опустился на корячки, стал скулить, упрашивать всех проходящих мимо, чтобы купили у него плетушку тухлых рыбок, которую он принес с собою. Был пыльный и холодный день на широкой китайской реке. В лодке под камышовым парусом, качавшейся на речной мути, сидел щенок — рыжий кобелек, имевший в себе нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг шеи, — строго и умно водил черными глазами по высокой железной стене пароходного бока и торчком держал уши.

— Продай лучше собаку! — весело и громко, как глухому, крикнул китайцу молодой капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке.

Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза вверх, оторопел и от крика и от радости, стал кланяться и

цокать: «Ve'y good dog, ve'y good!»<sup>1</sup> — И щенка купили, — всего за целковый, — назвали Чангом, и поплыл он в тот же день со своим новым хозяином в Россию и вначале, целых три недели, так мучился морской болезнью, был в таком дурмане, что даже ничего не видел: ни океана, ни Сингапура, ни Коломбо...

В Китае начиналась осень, погода была трудная. И стало мутить Чанга, едва вышли в устье. Навстречу несло дождем, мглою, сверкали по водной равнине барашки, качалась, бежала, всплескивалась серо-зеленая зыбь, острая и бестолковая, а плоские побережья расходились, терялись в тумане — и все больше, больше становилось воды вокруг. Чанг, в своей серебрившейся от дождя шубке, и капитан, в непромокаемом пальто с поднятым капюшоном, были на мостике, высота которого чувствовалась теперь еще сильнее, чем прежде. Капитан командовал, а Чанг дрожал и воротил от ветра морду. Вода ширилась, охватывала ненастные горизонты, мешалась с мгlistым небом. Ветер рвал с крупной шумной зыби брызги, налетал откуда попало, свистал в реях и гулко хлопал внизу парусиновыми тентами, меж тем как матросы, в кованых сапогах и мокрых накидках, отвязывали, ловили и скатывали их. Ветер искал, откуда бы покрепче ударить, и как только пароход, медленно ему кланявшийся, взял покруче вправо, поднял его таким большим, кипучим валом, что он не удержался, рухнул с переката вала, зарываясь в пену, а в штурманской рубке с дребезгом и звоном полетела на пол кофейная чашка, забытая на столике лакеем... И с этой минуты пошла музыка!

Дни потом были всякие: то огнем жгло с сияющей лазури солнце, то горами громоздились и раскатыва-

<sup>1</sup> Очень хорошая собака, очень хорошая! (англ.)

лись ужасающим громом тучи, то потопами обрушивались на пароход и на море буйные ливни; но качало, качало непрерывно, даже и во время стоянок. Вконец замученный, ни разу за целых три недели не покинул Чанг своего угла в жарком полутемном коридоре среди пустых кают второго класса, на юте, возле высокого порога двери на палубу, отворявшейся только раз в сутки, когда вестовой капитана приносил Чангу пищу. И от всего пути до Красного моря остались в памяти Чанга только тяжкие скрипы переборок, дурнота и замирание сердца, то летевшего вместе с дрожащей кормой куда-то в пропасть, то возносившегося в небо, да колючий, смертный ужас, когда об эту высоко поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом в воздухе, с пушечным выстрелом расшибалась целая водяная гора, гасившая дневной свет в иллюминаторах и потом стекавшая по их толстым стеклам мутными потоками. Слышал больной Чанг далекие командные крики, гремящие свистки боцмана, топот матросских ног где-то над головой, слышал плеск и шум воды, различал полузакрытыми глазами полутемный коридор, загроможденный рогожными тюками чая, — и шалел, пьянел от тошноты, жары и крепкого чайного запаха...

Но тут сон Чанга обрывается.

Чанг вздрагивает и открывает глаза: это уже не волна ударила в корму — это грохнула где-то внизу дверь, с размаху кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встает со своего вдавленного одра капитан. Он натягивает на ноги и зашнуровывает разбитые башмаки, надевает вынутую из-под подушки черную тужурку с золотыми пуговицами и идет к комоду, меж тем как Чанг, в своей рыжей поношенной шубке, недовольно, с визгом зевает, поднявшись с пола. На комодѣ стоит начатая бутылка водки. Капитан пьет прямо из горлышка и,

слегка задохнувшись и отдуваясь в усы, направляется к камину, наливает в плошку, стоящую возле него, водки и для Чанга. Чанг жадно начинает лакать. А капитан закуривает и снова ложится — ждать того часа, когда совсем ободняется. Уже слышен отдаленный гул трамвая, уже льется далеко внизу, на улице, непрерывное цоканье копыт по мостовой, но выходить еще рано. И капитан лежит и курит. Кончив лакать, ложится и Чанг. Он вскакивает на кровать, свертывается клубком у ног капитана и медленно вплывает в то блаженное состояние, которое всегда дает водка. Полузакрытые глаза его туманятся, он слабо глядит на хозяина и, чувствуя все возрастающую нежность к нему, думает то, что можно выразить по-человечески так: «Ах, глупый, глупый! Есть только одна правда на свете, и если бы ты знал, какая эта чудесная правда!» И опять не то снится, не то думается Чангу то далекое утро, когда после мучительного, беспокойного океана вошел пароход, плывший из Китая с капитаном и Чангом, в Красное море...

Снится ему:

Проходя Перим, все медленнее, точно баюкая, размахивался пароход, и впал Чанг в сладкий и глубокий сон. И вдруг очнулся. И, очнувшись, изумился выше всякой меры: везде было тихо, мерно дрожала и никуда не падала корма, ровно шумела вода, бежавшая где-то за стенами, теплый кухонный запах, тянувшийся из-под двери на палубу, был очарователен... Чанг привстал и поглядел в пустую кают-компанию: там, в сумраке, мягко светилось что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но необыкновенно радостное — там, в солнечно-голубую пустоту, на простор, на воздух, были открыты задние иллюминаторы, а по низкому потолку струились, текли и не утекали извилистые зеркальные ручьи. И случилось с Чангом то же, что не раз случалось в те времена и с его

хозяином, капитаном: он вдруг понял, что существует в мире не одна, а две правды — одна та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая... Но о другой Чанг не успел додумать: в неожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап на спардек, черную, блестящую громаду паровой трубы, ясное небо летнего утра и быстро идущего из-под трапа, из машинного отделения, капитана, размытого и выбритого, благоухающего свежестью одеколона, с поднятыми по-немецки русыми усами, с сияющим взглядом зорких светлых глаз, во всем тугом и белоснежном. И, увидев все это, Чанг так радостно рванулся вперед, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову и, повернув назад, в три прыжка выскочил, на руках с ним, на спардек, на верхнюю палубу, а оттуда еще выше, на тот самый мостик, где так страшно было в устье великой китайской реки.

На мостике капитан вошел в штурманскую рубку, а Чанг, брошенный на пол, немного посидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост. Сзади Чанга было очень горячо и светло от невысокого солнца. Горячо, должно быть, было и в Аравии, близко проходившей справа своим золотым побережьем и своими черно-коричневыми горами, своими пиками, похожими на горы мертвой планеты, тоже глубоко засыпанными сухим золотом, — всей своей песчаногористой пустыней, видной необыкновенно четко, так, что казалось, туда можно перепрыгнуть. А наверху, на мостике, еще чувствовалось утро, еще тянуло легкой свежестью, и бодро гулял взад и вперед помощник капитана, — тот самый, что потом так часто до бешенства доводил Чанга, дуя ему в нос, — человек в белой одежде, в белом шлеме и в страшных черных очках, все поглядывавший на поднебесное острие передней мачты, над которой белым страусовым пером курчавилось тончайшее облачко... Потом

капитан крикнул из рубки: «Чанг! Кофе пить!» И Чанг тотчас вскочил, обскакал рубку и ловко сигнул через ее медный порог. И за порогом оказалось еще лучше, чем на мостике: там был широкий кожаный диван, приделанный к стене, над ним висели какие-то блестящие стеклом и стрелками штуки вроде круглых настенных часов, а на полу стояла полоскательница с бурдой из сладкого молока и хлеба. Чанг стал жадно лакать, а капитан занялся делом: он развернул на стойке, помещавшейся под окном дивана, большую морскую карту и, положив на нее линейку, твердо прорезал алыми чернилами длинную полоску. Чанг, кончив лакать, с молоком на усах, подпрыгнул и сел на стойке возле самого окна, за которым синела отложным воротом просторная рубаха матроса, стоявшего спиной к окну перед колесом с рогами. И тут капитан, который, как оказалось впоследствии, очень любил поговорить, будучи наедине с Чангом, сказал Чангу:

— Видишь, братец, вот это и есть Красное море. Надо нам с тобой пройти его поумнее, — ишь какое оно от островков и рифов пестрое, — надо мне тебя доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о твоём существовании. Я уже проболтался про тебя одной прекапризной девчонке, похвастался перед ней твоей милостью по такому, понимаешь ли, длинному канату, что проложен умными людьми на дне всех морей-океанов... Я, Чанг, все-таки ужасно счастливый человек, такой счастливый, что ты даже и представить себе не можешь, и потому мне ужасно не хочется напороться на какой-нибудь из этих рифов, осрамиться до девятой пуговицы на своем первом дальнем рейсе...

И, говоря так, капитан вдруг строго глянул на Чанга и дал ему пощечину.

— Лапы с карты прочь! — крикнул он начальственно. — Не смей лезть на казенное добро!

И Чанг, мотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощечина, полученная им, и он обиделся, ему опять показалось, что жить на свете и плавать — скверно. Он отвернулся, гася и сокращая свои прозрачно-яркие глаза, и с тихим рычанием оскалил свои волчьи зубы. Но капитан не придавал значения его обиде. Он закурил папиросу и вернулся на диван, вынул из бокового кармана пикейной куртки золотые часы, отколупнул крепким ногтем их крышки и, глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое, что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он опять стал рассказывать Чангу о том, что он везет его в Одессу, на Елисаветинскую улицу, что на Елисаветинской улице есть у него, у капитана, во-первых, квартира, во-вторых, красавица жена и, в-третьих, чудесная дочка и что он, капитан, все-таки очень счастливый человек.

— Все-таки, Чанг, счастливый! — сказал капитан, а потом добавил:

— Дочка эта самая, Чанг, девочка резвая, любопытная, настойчивая, — плохо тебе будет врeменами, особенно твоему хвосту! Но если бы ты знал, Чанг, что это за прелестное существо! Я, братец, так люблю ее, что даже боюсь своей любви: для меня весь мир только в ней, — ну, скажем, почти в ней, — а разве так полагаются? Да и вообще, следует ли кого-нибудь любить так сильно? — спросил он. — Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды, а послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному — от солнечного света, от волны, от воздуха и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации! Или: знаешь ли ты, что такое Тао, выдуманное вами же, китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это, но насколько можно понять, ведь это что такое? Бездна-Праматерь, она же родит и поглощает и, поглощая, снова родит все сущее в мире, а иначе



III

сказать — тот Путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему, поминутно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему! Жутко жить на свете, Чанг, — сказал капитан, — очень хорошо, а жутко, и особенно таким, как я! Уж очень я жаден до счастья и уж очень часто сбиваюсь: темен и зол этот Путь или же совсем, совсем напротив?

И, помолчав, еще добавил:

— Главная штука ведь в чем? *Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь.* И вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь, боже мой, как великолепна!

Накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем и чуть дрожащий на бегу пароход неустанно разрезал заштилевшее в бездне знойного воздушного пространства Красное море. Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Близился полдень, медный порог так и горел на солнце. Стекловидные валы все медлительнее перекатывались за бортом, вспыхивая ослепительным блеском и озаряя рубку. Чанг сидел на диване, слушая капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол — «нет, брат, жарко!» — сказал он, — но на этот раз Чанг не обиделся: слишком хорошо было жить на свете в этот радостный полдень. А потом...

Но тут опять прерывается сон Чанга.

— Чанг, идем! — говорит капитан, сбрасывая ноги с кровати. И опять с удивлением видит Чанг, что он не на пароходе в Красном море, а на чердаке в Одессе, и что на дворе и впрямь полдень, только не радостный, а темный, скучный, неприятный. И тихо рычит на капитана, потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает старый фор-

менный картуз и такое же пальто и, запустив руки в карманы и сгорбившись, идет к двери. Поневоле приходится и Чангу спрыгивать с кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в силу нудной необходимости. Чанг катится довольно быстро: его бодрит еще не улегшееся раздражение, которым всегда кончается блаженное состояние после водки...

Да, вот уже два года, изо дня в день, занимаются Чанг с капитаном тем, что ходят по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядят на других пьяниц, пьющих и закусывающих рядом с ними, среди шума, табачного дыма и всякого зловония. Чанг лежит у ног капитана, на полу. А капитан сидит и курит, крепко положив, по своей морской привычке, локти на стол, ждет того часа, когда надо будет, по какому-то им самим выдуманному закону, перескочевать в другой ресторан или кофейню: завтракают Чанг с капитаном в одном месте, кофе пьют в другом, обедают в третьем, ужинают в четвертом. Обычно капитан молчит. Но бывает, что встречается капитан с кем-нибудь из своих прежних друзей, и тогда весь день говорит без умолку о ничтожестве жизни и поминутно угощает вином то себя, то собеседника, то Чанга, перед которым всегда стоит на полу какая-нибудь посудинка. Именно так проведут они и нынешний день: нынче они условились позавтракать с одним старым приятелем капитана, с художником в цилиндре. А это значит, что будут они сидеть сперва в вонючей пивной, среди краснолицых немцев, — людей тупых, дельных, работающих с утра до вечера с той целью, конечно, чтобы пить, есть, снова работать и плодить себе подобных, — потом пойдут в кофейню, битком набитую греками и евреями, вся жизнь которых, тоже бессмысленная, но очень тревожная, поглощена непрерывным ожиданием биржевых слухов, а из кофейни отправятся в ресторан, куда стекается всякое

человеческое отречение, — и просидят там до поздней ночи...

Зимний день короток, а за бутылкой вина, за беседой с приятелем он еще короче. И вот уже побывали Чанг, капитан и художник и в пивной, и в кофейне и без конца сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что есть только одна правда на свете, — злая и низкая. — Ты посмотри кругом, говорит он, ты только вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице! Друг мой, я видел весь земной шар — жизнь везде такова! Все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди: нет у них ни бога, ни совести, ни разумной цели существования, ни любви, ни дружбы, ни честности, — нет даже простой жалости. Жизнь — скучный, зимний день в грязном кабаке, не более...

И Чанг, лежа под столом, слушает все это в тумане хмеля, в котором уже нет более возбуждения. Соглашается он или не соглашается с капитаном? На это нельзя ответить определенно, но раз уж нельзя, значит, дело плохо. Чанг не знает, не понимает, прав ли капитан; да ведь все мы говорим «не знаю, не понимаю» только в печали; в радости всякое живое существо уверено, что оно все знает, все понимает... Но вдруг точно солнечный свет прорезывает этот туман: вдруг раздается стук палочки по пюпитру на эстраде ресторана — и запекает скрипка, за ней другая, третья... Они поют все страстней, все звончее, — и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятого восторга, от какой-то сладкой муки, от жажды чего-то, — и уже не разбирает Чанг, во сне он или наяву. Он всем существом своим отдается музыке, покорно следует за ней в какой-то иной мир — и снова видит себя на пороге этого прекрасного мира, неразумным, доверчивым к миру щенком на пароходе в Красном море...

— Да, так как это было? — не то снится, не то думается ему. — Да, помню: хорошо было жить в жаркий полдень в Красном море! Чанг с капитаном сидели в рубке, потом стояли на мостике... О, сколько было света, блеска, синевы, лазури! Как удивительно цветисты были на фоне неба все эти белые, красные и желтые рубахи матросов, с растопыренными руками развешенные на носу! А потом Чанг с капитаном и прочими моряками, у которых лица были кирпичные, глаза маслянистые, а лбы белые и потные, завтракал в жаркой кают-компании первого класса, под жужжащим и дующим из угла электрическим вентилятором, после завтрака вздремнул немного, после чая обедал, а после обеда опять сидел наверху, перед штурманской рубкой, где лакей поставил для капитана полотняное кресло, и смотрел далеко за море, на закат, нежно зеленевший в разноцветных и разнообразных тучках, на винно-красное, лишенное лучей солнце, которое, коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулось и стало похоже на темно-огненную митру... Быстро бежал пароход вдогонку за ним, так и мелькали за бортом гладкие водяные горбы, отливающие сине-лиловой шагренью, но солнце спешило, спешило, — море точно втягивало его, — и все уменьшалось да уменьшалось, стало длинным раскаленным углем, задрожало и потухло, а как только потухло, сразу пала на весь мир тень какой-то печали, и сильнее заволновался все крепчавший к ночи ветер. Капитан, глядя на темное пламя заката, сидел с раскрытой головою, с колеблющимися от ветра волосами, и лицо его было задумчиво, гордо и грустно, и чувствовалось, что *все-таки* он счастлив, и что не только весь этот бегущий по его воле пароход, но и целый мир в его власти, потому что весь мир был в его душе в эту минуту, — и потому еще, что и тогда уже пахло вином от него...

Ночь же настала, страшная и великолепная. Она была черная, тревожная, с беспорядочным ветром и с таким полным светом шумно взметывавшихся вокруг парохода волн, что порою Чанг, бегавший за быстро и безостановочно гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта. И капитан опять взял Чанга на руки и, приложив щеку к его бьющемуся сердцу, — ведь оно билось совершенно так же, как и у капитана! — пришел с ним в самый конец палубы, на ют, и долго стоял там в темноте, очаровывая Чанга дивным и ужасным зрелищем: из-под высокой, громадной кормы, из-под глухо бушующего винта, с сухим шорохом сыпались мириады бело-огненных игл, вырывались и тотчас же уносились в снежную искристую дорогу, прокладываемую пароходом, то огромные голубые звезды, то какие-то тугие синие клубы, которые ярко разрывались и, угасая, таинственно дымились внутри кипящих водяных бугров бледно-зеленым фосфором. Ветер с разных сторон сильно и мягко бил из темноты в морду Чанга, раздувал и холодил густой мех на его груди, и, крепко, родственно прижимаясь к капитану, обонял Чанг запах как бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских глубин, а корма дрожала, ее опускало и поднимало какой-то великой и несказанно свободной силой, и он качался, качался, возбужденно созерцая эту слепую и темную, но стократ живую, глухо бунтующую Бездну. И порой какая-нибудь особенно шальная и тяжелая волна, с шумом пролетавшая мимо кормы, жутко озаряла руки и серебряную одежду капитана...

В эту ночь капитан привел Чанга в свою каюту, большую и уютную, мягко освещенную лампой под красным шелковым абажуром. На письменном столе, плотно уместившемся возле капитанской кровати, стояли, в тени и свете лампы, два фотографических портрета: хорошенькая сердитая девочка в локонах,

капризно и вольно сидевшая в глубоком кресле, и молодая дама, изображенная почти во весь рост, с кружевным белым зонтиком на плече, в кружевной большой шляпке и в нарядном весеннем платье, — стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царевна. И капитан сказал, под шум черных волн за окном:

— Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина! *Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жадной любви и которые от этого от самого никогда и никого не любят.* Есть такие — и как судить их за всю их бессердечность, лживость, мечты о сцене, о собственном автомобиле, о пикниках на яхтах, о каком-нибудь спортсмене, раздирающем свои сальные от фиксажура волосы на прямой ряд? Кто их разгадает? Всякому свое, Чанг, и не следуют ли они сокровеннейшим велениям Тао, как следует им какая-нибудь морская тварь, вольно ходящая вот в этих черных, огненно-панцирных волнах?

— У-у! — сказал капитан, садясь на стул, мотая головой и развязывая шнурки белого башмака. — Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз почувствовал, что она уже не совсем моя, — в ту ночь, когда она в первый раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая роза, бледная от усталости и еще не улегшегося возбуждения, с глазами сплошь темными, расширенными и такими далекими от меня! Если бы ты знал, как неподражаемо хотела она одурачить меня, с каким простым удивлением спросила: «А ты еще не спишь, бедный?» Тут я даже слова не мог выговорить, и она сразу поняла меня и смолкла, — только быстро взглянула на меня, — и молча стала раздеваться. Я хотел убить ее, но она сухо и спокойно сказала: «Помоги мне расстегнуть сзади платье», — и я покорно подошел и стал дрожащими руками отстегивать эти крючки и кноп-

ки — и как только увидел в раскрывшееся платье ее тело, ее междуплечье и сорочку, спущенную с плеч и засунутую за корсет, как только услышал запах ее черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражавшее ее груди, поднятые корсетом...

И, не договорив, капитан махнул рукой.

Он разделся, лег и погасил огонь, и Чанг, перевертываясь и укладываясь в сафьянном кресле возле письменного стола, видел, как бороздили черную плащаницу моря вспыхивающие и гаснущие полосы белого пламени, как по черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, как оттуда прибегала порою и с грозным шумом вырастала выше борта и заглядывала в каюту страшная живая волна, — некий сказочный змей, весь насквозь светившийся самоцветными глазами, прозрачными изумрудами и сапфирами, — и как пароход отталкивал ее прочь и ровно бежал дальше, среди тяжелых и зыбких масс этого довременного, для нас уже чуждого и враждебного естества, называемого океаном...

Ночью капитан вдруг что-то крикнул и, сам испугавшись своего крика, прозвучавшего какой-то унизительно-жалобной страстью, тотчас же проснулся. Полежав минуту молча, он вздохнул и сказал с усмешкой:

— Да, да! «Золотое кольцо в ноздре свиньи — женщина прекрасная!» Трижды прав ты, Соломон Премудрый!

Он нашел в темноте папиросницу, закурил, но, затаившись два раза, уронил руку — и так и заснул с красным огоньком папиросы в руке. И опять стало тихо — только сверкали, качались и с шумом неслись волны мимо борта. Южный Крест из-за черных туч...

Но тут внезапно оглушает Чанга громовой грохот. Чанг в ужасе вскакивает. Что случилось? Опять ударился, по вине пьяного капитана, пароход о подводные

камни, как это было три года тому назад? Опять выстрелил капитан из пистолета в свою прелестную и печальную жену? Нет, кругом не ночь, не море и не зимний полдень на Елисаветинской, а очень светлый, полный шума и дыма ресторан: это пьяный капитан ударил кулаком по столу и кричит художнику:

— Вздор, вздор! Золотое кольцо в ноздре свиньи, вот кто твоя женщина! «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими: зайдем, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома...» А-а, женщина! «Дом ее ведет к смерти и стези ее — к мертвецам...» Но довольно, довольно, друг мой. Пора, запирают, — идем!

И через минуту капитан, Чанг и художник уже на темной улице, где ветер с снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в разные стороны. Чанг, полусонный, угрюмый, бочком бежит по тротуару за быстро идущим и шатающимся капитаном... Опять прошел день, — сон или действительность? — и опять в мире тьма, холод, утомление...

Так, однообразно проходят дни и ночи Чанга. Как вдруг, однажды утром, мир, точно пароход, с разбегу налетает на скрытый от невнимательных глаз подводный риф. Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается великой тишиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места, кидается к постели капитана — и видит, что капитан лежит с закинутой назад головой, с лицом бледным и застывшим, с ресницами полуоткрытыми и недвижимыми. И, увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его сшиб с ног и пополам перехватил мчащийся по бульвару автомобиль...

Потом, когда не стоит на пятах дверь комнаты, когда входят, уходят и снова приходят, громко разговаривая, самые разные люди — дворники, полицейские, художник в цилиндре и всякие другие господа, с

которыми сиживал капитан в ресторанах, — Чанг как бы каменеет... О, как страшно говорил когда-то капитан: «В тот день задрожат стерегущие дом и помрачатся смотрящие в окно; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы: ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы; ибо разбился кувшин у источника и обрушилось колесо над колодезем...» Но теперь Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на полу, мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мира, чтобы забыть о нем. И мир шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все глубже и глубже опускается в его бездну.

А снова приходит он в себя уже на паперти, у дверей костела. Он сидит возле них с поникшей головой, тупой, полумертвый — только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела — и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, — точно две сестры разных возрастов, — а надо всем этим — гул, громы, клир звонко вопиющих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие — и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник, с красными глазами вышедший в эту минуту из костела, в изумлении останавливается.

— Чанг! — тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу. — Чанг, что с тобою?

И, коснувшись задрожавшей рукою головы Чанга, наклоняется еще ниже — и глаза их, полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру: ах, нет,

нет — есть на земле еще какая-то, мне неизвестная, третья правда!

В этот день, возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего третьего хозяина — снова на вышку, на чердак, но теплый, благоухающий сигарой, устланный коврами, уставленный старинной мебелью, увешанный огромными картинами и парчовыми тканями... Темнеет, камин полон раскаленными, сумрачными грудями жара, новый хозяин Чанга сидит в кресле. Он, возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндр, сел с сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза, положив морду на лапы.

Кто-то тоже лежит теперь — там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том, что называется склепом, могилой. Но этот кто-то не капитан, нет. Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан; в том безначальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти. В мире этом должна быть только одна правда, — третья, — а какая она, — про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг.

*Васильевское. 1916*

## СТАРУХА

Эта глупая уездная старуха сидела на лавке в кухне и рекой лилась, плакала.

Святочная метель, вихрями носившаяся по снежным крышам и снежным пустым улицам, стала мутно синеть, наливаясь сумерками, а в доме темнело.

Там, в зале, чинно стояли кресла вокруг стола под бархатной скатертью, над диваном тускло блестела картина — зеленоватый кружок луны в облаках, дремучий литовский лес, тройка лошадей, сани, из которых розовыми лучами палили охотники, и кувыржающиеся за санями волки; в одном углу до потолка раскидывалось из кадки мертвыми листьями сухое тропическое растение, а в другом воронкой зиял хобот граммофона, оживавший только по вечерам, при гостях, когда из него вопил в притворном отчаянии чей-то хриплый голос: «Ах, тяжело, тяжело, господа, жить с одной женой всегда!» В столовой текло с мокрых тряпок, лежавших на подоконниках, в клетке, крытой клеенкой, спала; завернув головку под крылышко, больная тропическая птичка, — сном тонким и, в силу непривычки к нашим Святкам, грустным, грустным. В узкой комнате рядом со столовой крепко, с храпом спал квартирант, пожилой холостяк, учитель прогимназии, в классах дравший детей за волосы, а дома усердно работавший над большим, многолетним сочинением: «Тип скованного Прометея в мировой литературе». В спальне тяжело и зло спали хозяйка после страшного скандала за обедом. А старуха сидела на лавке в темнеющей кухне и разливалась горькими слезами.

Скандал-то за обедом начался опять из-за нее! Хозяйка, которой по годам уже давно следовало стыдиться ревновать, с ума сходила от ревности и наконец-таки поставила на своем — наняла в кухарки старуху. Хозяин, который уже давно красился, но все свои помыслы устремлял только на женский пол, решил сжить эту старуху со свету. И правда, была старуха куда как нехороша собой: высокая, гнутая, узкоплечая, глухая и подслепая, от робости бестолковая, готовила, несмотря на все свои старания, из рук вон скверно. Она трепетала за каждый свой шаг, из сил выбивалась, чтобы угодить... Не радостно было ее прошлое: ну, конечно, муж разбойник и пьяница, потом, после его смерти, чужие углы и поборы под окнами, долгие годы голода, холода, бесприютности... И уж как же была старуха счастлива, что опять она стала не хуже людей,— сыта, тепла, обута, одета, служит у чиновника! Как молилась она перед сном, стоя на коленках на полу кухни, всю свою душу отдавая богу за милость, столь нежданно ей оказанную, как просила его не лишать ее этой милости! Но хозяин поедом ел ее: нынче за обедом он так гаркнул на нее, что у нее руки-ноги оторвались от страха, а миска со щами полетела на пол. И что только было потом между хозяевами! Даже учитель, весь обед думавший о Прометее, не выдержал, отвел вбок кабаньи глазки и молвил:

— Не ссорьтесь, господа, ради высокаторжественного праздника!

Вот дом затих, успокоился. Посинел во дворе дым вьюги, выше крыш намело сугробы, завалило ворота и калитку... Бледный, ушастый мальчик в валенках, сирота, хозяйкин племянник, долго учил уроки, приладившись к мокрому подоконнику в своей каморке рядом с кухней. Он был отрок прилежный и назубок решил вытвердить то, что ему задали на рождественские каникулы. Он не хотел огорчать своих воспитате-

лей и благодетелей, он, им на утешение, отечеству на пользу, старался на всю свою жизнь запомнить, что две с половиной тысячи лет тому назад греки (народ вообще мирный, с утра до вечера соборно участвовавший в театральных трагедиях и совершавший жертвоприношения, а в свободные часы вопрошавший оракула) наголову разбили однажды войско персидского царя при помощи богини Афины-Паллады, да могли бы пойти по пути цивилизации и дальше, если бы не изнежились, не развратились и не погибли, как было это, впрочем, со всеми древними народами, неумеренно предававшимися идолопоклонству и роскоши. А вспомнив, закрыл книжку и долго скреб ногтями лед с оконного стекла. Потом встал, неслышно подошел к двери в кухню, заглянул за дверь — и опять увидел то же самое: в кухне тихо и сумрачно, рублевые стенные часы, у которых стрелки не двигались, всегда показывали четверть первого, стучат необыкновенно четко и торопливо, свинка, зимующая в кухне, стоит возле печки и, до глаз запустив морду в лохань с помоями, роется в них... а старуха сидит и плачет: утирается подолом — и рекой течет!

Плакала она и потом, — засветив лампочку и раскалывая на полу тупым кухонным ножом сосновые щепки для самовара. Плакала и вечером, подав самовар в хозяйскую столовую и отворив дверь пришедшим гостям, — в то время, когда по темной, снежной улице брел к дальнему фонарю, задуваемому вьюгой, оборванный караульщик, все сыновья которого, четыре молодых мужика, уже давно были убиты из пулеметов немцами, когда в непроглядных полях, по смрадным избам, укладывались спать бабы, старики, дети и овцы, а в далекой столице шло истинно разлитое море веселия: в богатых ресторанах притворялись богатые гости, делая вид, что им очень нравится пить из кувшинов ханжу с апельсинами и платить за каждый

такой кувшин семьдесят пять рублей: в подвальных кабаках, называемых кабаре, нюхали кокаин и порою, ради вящей популярности, чем попадая били друг друга по раскрашенным физиономиям молодые люди, притворявшиеся футуристами, то есть людьми будущего; в одной аудитории притворялся поэтом лакей, певший свои стихи о лифтах, графинях, автомобилях и ананасах; в одном театре лез куда-то вверх по картонным гранитам некто с совершенно голым черепом, настойчиво у кого-то требовавший отворить ему какие-то ворота; в другом выезжал на сцену, верхом на старой белой лошади, гремевшей по полу копытами, и, прикладывая руку к бумажным латам, целых пятнадцать минут пел за две тысячи рублей великий мастер притворяться старинными русскими князьями, меж тем как пятьсот мужчин с зеркальными лысынами пристально глядели в бинокли на женский хор, громким пением провожавший этого князя в поход, и столько же нарядных дам ели в ложах шоколадные конфеты; в третьем старики и старухи, больные тучностью, кричали и топали друг на друга ногами, притворяясь давным-давно умершими замоскворецкими купцами и купчихами; в четвертом худые девицы и юноши, раздевшись донага и увенчав себя стеклянными виноградными гроздьями, яростно гонялись друг за другом, притворяясь какими-то сатирами и нимфами... Словом, до самой поздней ночи, пока одни караулили, а другие укладывались спать или веселились, горькими слезами плакала глупая уездная старуха под хриплый, притворно-отчаянный крик, долетавший из гостиной ее хозяев:

Ах, тяжело, тяжело, господа,  
Жить с одной женой всегда!

## РОЗА ИЕРИХОНА

В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы.

Странно, что назвали розой да еще Розой Иерихона этот клубок сухих, колючих стеблей, подобный нашему перекати-поле, эту пустынную жесткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в безлюдных синайских предгорьях. Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину Огненную, нагую мертвую теснину в пустыне Иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему земных сравнений.

Ибо он, этот волчец, воистину чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!

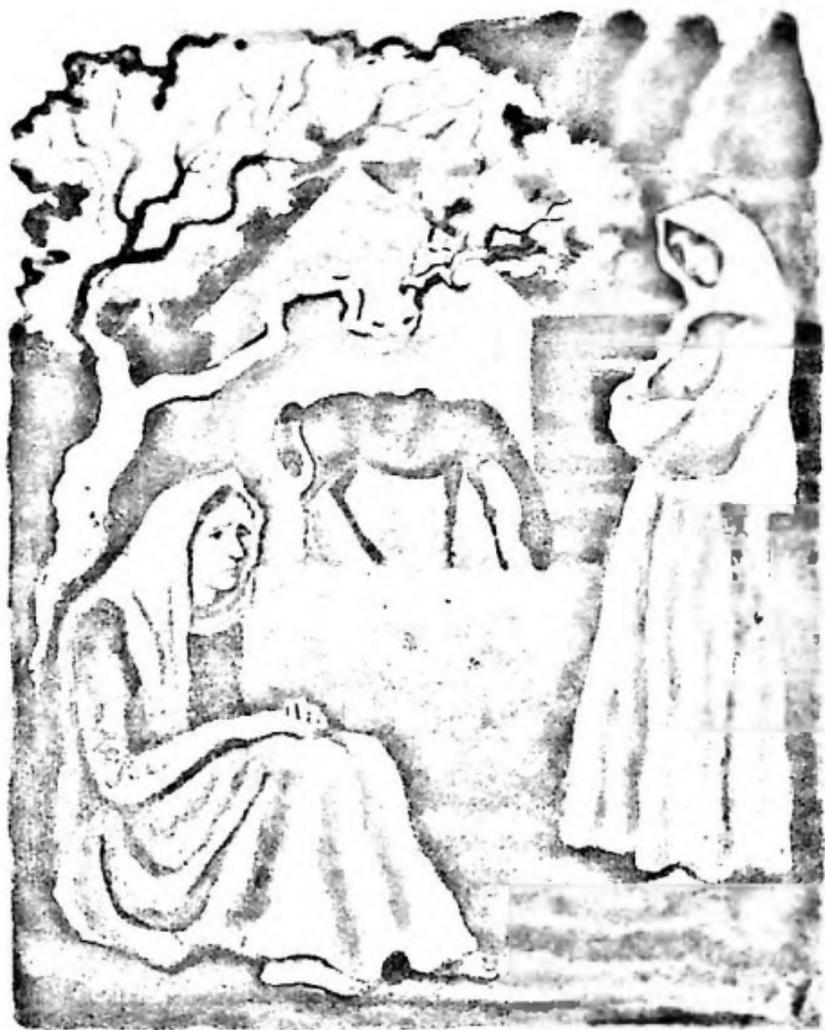
Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю господа нашего Иисуса Христа. В великом покое всковой тишины и забвения лежали перед нами ее палестины — доли Галилеи, холмы иудейские, соль и жупел Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели все те же анемоны и маки, что цвели и при Рахили, красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча...

Роза Иерихона. В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого — и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный знак. Отдались, неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце — и уже навеки покроет прах забвения Розу моего Иерихона.

### ПОЛУНОЧНАЯ ЗАРНИЦА

Изба в густом майском лесу, перед ней поляна, среди поляны раскидистая яблоня, лесовка, вся белая и кудрявая от цвета. Солнце уже село за лесом, но еще долго будет светло. Все свежо, молодо, всего преизбыток — зелени цветов, трав, соловьев, горлинок, кукушек. И сладко, лесом, цветами, травами, пахнет легкий холодок зари. За теми чащами, над которыми светлая пустота весеннего заката и которые спускаются в лесные овраги, розовеющим зеркалом сквозит пруд, и в нем иногда квохчет лягушка, томно, изнемогая от наслаждения. Соловьи низко перелетают над поляной, гоняются друг за другом, на лету цокают, трещат.

Верховая лошадь, кажущаяся под седлом еще легче и красивее, стоит под яблоней. Она тянется мордой к мелкой листве среди белых цветов, обрывает ее и все время звучно жует. А я сижу на пне возле избы, и мне приятно, что я здоров, молод, что я хорошо езжу и что лошадь ценит это, любит меня, что она так женственна и породиста, что она с одинаковым удовольствием покоряется мне во всем — принимает на себя седло, чувствует крепко охватившие ее подпруги, идет крупным, вольным шагом или во весь опор скачет,



стоит возле крыльца, на меже в поле, под деревом в лесу...

В избе, на лавке возле окошка,— девочка лет трех, в чепчике. Она занята тем, что бьет себя по губам: бам, бам, бам! За ней, внутри избы, черно и жарко.

Широта и глубина светлого заката сократилась, померкла. В бездонной высоте, сереющей над поляной, парами налетают вальдшнепы, на мгновение останавливаются — и летят дальше. Лягушка смолкла,— во всем лесу тишина, только щебечут где-то вблизи две птички, да и то как-то безжизненно, перед сном. И все чаще, все страннее смотрит вверх, на сереющую синеву, где уже мелко проступают первые зерна звезд, горбатая девка, смирно сидевшая весь вечер на траве неподалеку от яблони.

Вверху — небо, вправо — померкшая заря, впереди, за яблоней,— далекие красноватые просветы в черных лесных низах. И я тоже смотрю — то ввышину, то на эти просветы, то на лошадь, то на девуку,— и тогда она, не глядя, тотчас чувствует мой взгляд и стыдливо подбирает ноги, оправляет платье. Она чисто и приятно одета. Лицо у нее слегка широкоскулое, но тонкое, озаренное прозрачной бледностью. Трогательно ее ожерелье на худых ключицах, девичья льняная сорочка, маленькие босые ноги — и странен, даже немного страшен ее частый и несмелый взгляд в небо.

Подходит ее мать — воротилась из села, принесла мешочек пшена, связку кренделей.

Поздоровавшись со мной, садится на порог избы, вздыхает:

— Была в селе, купила кой-чего... А вы давно тут? Анютка не плакала? На нее надежды нету,— говорит она, разумея горбатую, которая слушает так, будто говорят не про нее, а про кого-то другого,— она у нас, сами знаете, какая...

Я знаю, но баба подробно и не спеша рассказывает или, скорее, вслух передумывает все то, что я слышал уже много раз:

— Что ж, дошло до того, что два раза из омота вынимали... Пришла я как-то из села, а она в пруде по горло, топиться хочет... А наемдни с осинки сняла: собираю сушь в лесу, глядь, а она висит на суку, еле ногами травы касается,— уж краски по лицу пошли... «Все, говорит, ходит *Он* ко мне, душит, настигает...» Ночью проснусь, а она задыхается, кричит: «Что ты? Что ты? Пусти, не хочу!» А самой, по голосу слышу, лестно, сладко... Спать без того не ложится,— молится, приговаривает: «Не надейся, не надейся, с собой не положу! Всю постелю закрещу!» Тает, на нет сошла, осталось нарядить да в гроб положить... Уж я с ней работы и не спрашиваю, грех и спрашивать... Куда вся храбрость девалась, а прежде чистый огонь была, нежная, обидчивая... Дело молодое, тайное, какой только думки в голове нсту! Иной раз проговорится,— глаза потупит, покраснеет и шепчет: «Ну что же, ну, горбатая, а все лицом не хуже других... Ну и пускай никто не возьмет, постыдится с такой-то под венец стать... Найду себе получше дружка, потаенного, полуночного...» Какой страшный грех говорит, а все думается — помрет, все господь простит...

Девка сидит прямо, неподвижно, не слушает, пристально и странно глядит в темноту леса...

Домой еду полями. Земля залита темнотой, темнота поднимается снизу, затопляет далекую зарю, последний след ее. Свежо — пахнет и зеленью уже поднявшихся ржей, и росистой травой на межах, и всем тем, полевым, ночным, среди чего я родился, вырос, чем так сладко живу...

Баба говорила: «Я сплю с Анюткой, на нарах, а она на коннике, под святыми... Ночью проснусь — сидит, в окошечко, на звезды, на ночь, на лес смотри». У меня,

говорит, звезда любимая есть, верная, неизменная, Полночная Зарница...»

Полночная Зарница, Звезда любви, Звезда пред-рассветная.

Лошадь идет подбористо, точно чует мои думы, — видны ее настороженные уши на слабом свете зари... О, красавица, умница, любимая моя! Как передать словами нашу с тобой близость, нашу любовь, — нет тоньше, таинственней и чище этой любви, навеки безмолвной, навеки верной, не обманывающей, любви между человеком и животным!

А этот, теперь уже темный и такой зловещий, лес и она, эта страшная и прекрасная горбунья? Мать, верно, уже спит, а она, живая покойница, сидит на лавке под святыми, глядит, слушает — одна во всем мире, — и все, кроме человека, все с ней и в ней — и ночь, и лес, и вся вселенная, вся тайна ее — и уж так с ней и в ней, как нам никому не дано, потому что уже совсем вне нашего мира она, уже во власти этого Потаенного, Полночного, чья дивная и грозная Звезда горит перед зарею над лесом...

И я обнимаю и целую сильную атласную шею своей бессловесной возлюбленной, чтобы слышать ее грубый запах, чтобы чувствовать земную плоть, потому что без нее, без этой плоти, мне слишком жутко в этом мире, и натягиваю поводья, и лошадь тотчас же отвечает мне всем своим существом — и легко, горячо несет меня по темной дороге к дому.

*Париж. 1921*

## ДАЛЕКОЕ

Давным-давно, тысячу лет тому назад, жил да был вместе со мною на Арбате, в гостинице «Северный Полюс», некий неслышный, незаметный, скромнейший в мире Иван Иванович, человек уже старенький и довольно потрепанный.

Из году в год жила, делала свое огромное дело Москва. Что-то делал, зачем-то жил на свете и он. Часов в девять он уходил, в пятом возвращался. О чем-то тихо, но ничуть не печально думая, он снимал с гвоздя в швейцарской свой ключ, поднимался во второй этаж, шел по коленчатому коридору. В коридоре очень сложно и очень дурно пахло и особенно чем-то тем, душным и резким, чем натирают полы в дрянных гостиницах. Коридор был темный и зловещий (номера выходили окнами во двор, а стекла над их дверями давали мало света), и весь день горела в конце каждого его колена лампочка с рефлектором. Но казалось, что Иван Иванович не испытывал ни малейшей доли тех тяжких чувств, которые возникали насчет коридора у людей, не привыкших к «Северному Полюсу». Он шел по коридору спокойно и просто. Встречались ему его сожители: бодро спешащий, с молодой бородой и ярким взглядом студент, на ходу надевав-

ший шинель в рукава; независимого вида стенографистка, рослая, манящая, несмотря на свое сходство с белым негром; старая маленькая дама на высоких каблучках, всегда наряженная, нарумяненная, с коричневыми волосами, с вечным клокотанием мокроты в груди, о встрече с каковой дамой предупреждал быстро бегущий по коридору лепет бубенчиков на ее курносом морсе с выдвинутой нижней челюстью, с яростно и бессмысленно вылулленными глазами... Иван Иваныч вежливо со всеми встречными раскланивался и ничуть не претендовал на то, что ему едва кивали в ответ. Он проходил одно колено, заворачивал в другое, еще более длинное и черное, где еще дальше краснела и блистала впереди стенная лампочка, совал ключ в свою дверь — и уединялся за нею до следующего утра.

Чем он у себя занимался, как коротал свой досуг? А бог его знает. Домашняя его жизнь, ничем внешним не проявляемая, никому не нужная, была тоже никому не ведома — даже горничной и коридорному, нарушавшим его затворничество только подачей самовара, уборкой постели и гнусного умывальника, из которого струя воды била всегда неожиданно и не на лицо, не на руки, а очень высоко и в сторону, вкось. С редкой, повторяю, незаметностью, с редким однообразием существовал Иван Иваныч. Проходила зима, наступала весна. Неслись, грохотали, звенели конки до Арбату, непрерывно спешили куда-то, навстречу друг другу, люди, трещали извозчицьи пролетки, кричали разносчики с лотками на головах, к вечеру в далеком пролете улицы сияло золотисто-светлое небо заката, музыкально разливался над всеми шумами и звуками басистый звон с шатровой, древней колокольни: Иван Иваныч как будто даже и не видел, не слышал ничего этого. Ни зима, ни весна, ни лето, ни осень не оказывали ни малейшего видимого влияния ни на него, ни на образ его жизни. Но вот, однажды весной, приехал

откуда-то, взял номер в «Северном Полюсе» и стал ближайшим соседом Иван Ивановича какой-то князь. И произошло с Иваном Ивановичем нечто совершенно неожиданное, негаданное.

Чем мог поразить его князь? Конечно, не титулом, — была же старшей сожительница Ивана Ивановича, маленькая дама с мопсом, тоже особой титулованной, и, однако, не чувствовал он к ней ровно ничего. Чем мог пленить? Конечно, не богатством и не внешностью, — князь был очень прожившийся человек, а на вид очень запущенный, нескладно огромный, с мешками под глазами, с шумной, тяжелой одышкой. И все-таки был Иван Иванович поражен и пленен, а главное, совсем вон выбит из своей долголетней колеи. Он превратил свое существование в какое-то непрерывное волнение. Он поверг себя в тревожное, мелкое и постыдное обезьянство.

Князь приехал, поселился, стал уходить и приходиться, с кем-то видаться, о чем-то хлопотать, — совершенно так же, разумеется, как делали это все, которые останавливались в «Северном Полюсе», которых перебывало на памяти Иван Ивановича великое множество и навязываться на знакомство с которыми Ивану Ивановичу и в голову не приходило. Но князя он почему-то из всех отличил. Перед князем он, при второй же или третьей встрече в коридоре, почему-то расшаркался, представился и со всяческими любезнейшими извинениями попросил сказать как можно точнее, который час. А завязав таким ловким образом знакомство, просто влюбился в князя, привел в полное расстройство весь свой обычный жизненный уклад и рабски стал подражать князю чуть не на каждом шагу.

Князь, например, ложился спать поздно. Он возвращался домой часа в два ночи (и всегда на извозчике). Стала и у Ивана Ивановича гореть до двух часов лампа.

Он зачем-то ждал возвращения князя, его грузных шагов по коридору, его свистящей одышки. Он ждал с радостью, чуть не с трепетом и порою даже высывался из своего номера, чтобы видеть подходящего князя, поговорить с ним. Князь шел не спеша, как бы не видя его, и всегда спрашивал одно и то же, глубоко безразличным тоном:

— А, а вы еще не спите?

И Иван Иванович, замирая от восторга, хотя, впрочем, без всякой робости и без всякого подобострастия, отвечал:

— Нет, князь, не сплю еще. Время детское, всего десять минут третьего... Гуляли, развлекались?

— Да, — говорил князь, сопя и не попадая ключом в дверную скважину, — встретил старого знакомого, зашли, посидели в трактире... Покойной ночи...

Тем все дело и кончалось, так холодно, хотя и вежливо, обрывал князь свою ночную беседу с Иван Ивановичем, но с Иван Ивановича и этого было достаточно. На цыпочках возвращался он к себе, привычно делал все то, что полагается перед сном, немножко крестился и кивал в угол, неслышно укладывался в постель за перегородкой и тотчас же засыпал, совершенно счастливый и совершенно бескорыстный в дальнейших намерениях своих насчет князя, если не считать невиннейшего вранья коридорному утру:

— А я вчера опять засиделся... Опять заговорились с князем до третьих петухов...

Князь с вечера выставлял за дверь свои большие растоптанные башмаки и вывешивал широчайшие серебристые панталоны. Стал и Иван Иванович выставлять свои сморщенные сапожки, которые чистились прежде в двенадцатые праздники, и вывешивать брючки с оборванными пуговицами, которые прежде не вывешивались никогда, даже под Рождество, под Пасху.

Князь просыпался рано, страшно кашлял, с жадностью закуривал толстую папиросу, кричал, отворив дверь в коридор, на весь дом: «Коридорный! Чаю!» — и, шлепая туфлями, в халате, надолго уходил за нуждой. Стал и Иван Иванович делать то же, — кричал в коридор о самоваре и, в калошах на босу ногу, в летнем пальтишке на заношенном белье, бежал и себе за нуждой, хотя прежде бегал он туда всегда всероном.

Князь однажды сказал, что он очень любит цирк и часто бывает в нем. Решил сходить в цирк и Иван Иванович, никогда цирка не любивший, бывший в цирке не менее сорока лет тому назад, и однажды сходил-таки и с восхищением рассказал ночью князю, какое он получил огромное наслаждение...

Ах, весна, весна! Все дело было, верно, в том, что происходил весь этот вздор весною.

Каждая весна есть как бы конец чего-то изжитого и начало чего-то нового. Той далекой московской весной этот обман был особенно сладок и силен — для меня по моей молодости и потому, что кончились мои студенческие годы, а для многих прочих просто по причине весны, на редкость чудесной. Каждая весна праздник, а та весна была особенно празднична.

Москва прожила свою сложную и утомительную зиму. А потом прожила Великий пост, Пасху и опять почувствовала, будто она что-то кончила, что-то свалила с плеч, дождалась чего-то настоящего. И было множество москвичей, которые уже меняли или готовились изменить свою жизнь, начать ее как бы сначала и уже по-иному, чем прежде, зажить разумнее, правильнее, моложе и спешили убирать квартиры, заказывать летние костюмы, делать покупки, — а ведь покупать (даже нафталин) весело! — готовились, одним словом, к отъезду из Москвы, к отдыху на данах, на Кавказе, в Крыму, за границей, вообще к лету, кото-

рое, как всегда кажется, непременно должно быть счастливым и долгим, долгим.

Сколько прекрасных, радующих душу чемоданов и новеньких, скрипящих корзин было куплено тогда в Леонтьевском переулке и у Мюра-Мерилиза! Сколько народу стриглось, брилось у Базиля и Теодора! И один за другим шли солнечные, возбуждающие дни, дни с новыми запахами, с новой чистотой улиц, с новым блеском церковных маковок на ярком небе, с новым Страстным, с новой Петровкой, с новыми светлыми нарядами на щеголихах и красавицах, пролетавших на легких лихачах по Кузнецкому, с новой светло-серой шляпой знаменитого актера, тоже быстро пролетавшего куда-то на «дутых». Все кончали какую-то полосу своей прежней, не той, какой нужно было, жизни, и чуть не для всей Москвы был канун жизни новой, непременно счастливой, — был он и у меня, у меня даже особенно, гораздо больше других, как казалось мне тогда. И все близился и близился срок моей разлуки с «Северным Полюсом», со всем тем, чем жил я в нем по-студенчески, и с утра до вечера был я в хлопотах, в разъездах по Москве, во всяческих радостных заботах. А что же делал мой сосед по номерам, скромнейший современник наш? Да приблизительно то же, что и мы. С ним случилось в конце концов то же самое, что и со всеми нами.

Шли апрельские и майские дни, неслись, звенели конки, непрерывно спешили люди, трещали извозчицьи пролетки, нежно и грустно (хотя дело шло лишь о спарже) кричали разносчики с лотками на головах, сладко и тепло пахло из кондитерской Скачкова, стояли кадки с лаврами у подъезда «Праги» где хорошие господа уже кушали молодой картофель в сметане, день незаметно клонился к вечеру, и вот уже сияло золотисто-светлое предзакатное небо на западе и музыкально разливался над счастливой, людной ули-

цей басистый звон с шатровой колокольни... День за днем жил весенний город своей огромной, разнообразной жизнью, и я был одним из самых счастливых участников ее, жил всеми ее запахами, звуками, всей ее суетой, встречами, делами, покупками, брал извозчиков, входил с приятелями в кафе Трамбле, заказывал в «Праге» ботвинью, закусывал рюмку холодной водки свежим огурчиком... А Иван Иванович? А Иван Иванович тоже куда-то ходил, тоже где-то бывал, делал что-то свое, маленькое, чрезвычайно маленькое, приобретая за это право на дальнейшее существование среди нас, то есть на обед за тридцать копеек в кухмистерской напротив «Северного Полюса» и на номер в «Северном Полюсе». Он только это скромное право зарабатывал себе где-то и чем-то и, казалось, был совершенно чужд всем нашим надеждам на какую-то новую жизнь, на новый костюм, новую шляпу, новую стрижку, на то, чтобы с кем-то в чем-то сравняться, завести знакомство, дружбу... Но вот приехал князь.

Чем мог он очаровать, поразить Ивана Ивановича? Но ведь не важен предмет очарования, важна жажда быть очарованным. Был, кроме того, князь человеком с остатками широких замашек, человеком глубоко прожившимся, но, значит, и пожившим в свое время как следует. Ну вот и возмечтал бедный Иван Иванович зажить и себе по-новому, по-весеннему, с некоторыми замашками и даже развлечениями. Что ж, разве это плохо — не заваливаться спать в десять часов, вывешивать для чистки штаны, ходить за нуждой до умывания? Разве это не молодит — зайти постричься, подравнять, укоротить бороду, купить молодящую серенькую шляпу и воротиться домой с какой-нибудь покупкой, хоть с четвертью фунта каких-нибудь пустяков, красиво перевязанных руками хорошенькой приказчицы? И Иван Иванович, постепенно и все больше входя в искушение, все это по-своему и проделал, то

есть исполнил в меру своих сил и возможностей почти все, что исполняли и прочие: и знакомство завел, и обезьянничать стал, — право, не больше других! — и весенних надежд набрался, и некоторую долю весеннего беспутства внес в свою жизнь, и к замашкам приобщился, и бороду подстриг, и с какими-то сверточками в руках стал возвращаться в «Северный Полюс» в предвечерний час, и даже больше того: купил и себе серенькую шляпу и нечто дорожное, — чемоданчик за рубль семьдесят пять, весь в блестящих жестяных гвоздях, — возмечтав непременно съездить летом к Троице или в Новый Иерусалим...

Сбылась ли эта мечта и чем вообще кончился порыв Ивана Иваныча к новой жизни, право, не знаю. Думаю, что кончился он, как и большинство наших порывов, неважно, но, повторяю, ничего определенного сказать не могу. А не могу потому, что вскоре мы все, то есть князь, Иван Иваныч и я, в один прекрасный день расстались, и расстались не на лето, не на год, не на два, а навеки. Да, не больше не меньше, как навеки, то есть чтобы уж никогда, ни в какие времена до скончания мира не встретиться, каковая мысль мне сейчас, невзирая на всю ее видимую странность, просто ужасна: подумать только, — никогда! В сущности, все мы, в известный срок живущие на земле вместе и вместе испытывающие все земные радости и горести, видящие одно и то же небо, любящие и ненавидящие в конце концов одинаковое и все поголовно обреченные одной и той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, должны были бы питать друг к другу величайшую нежность, чувство до слез умиляющей близости и просто кричать должны были бы от страха и боли, когда судьба разлучает нас, всякий раз имея полную возможность превратить всякую нашу разлуку, даже десятиминутную, в вечную. Но, как известно, мы, в общем, весьма далеки

от подобных чувств и часто разлучаемся даже с самыми близкими как нельзя более легкомысленно. Так, конечно, расстались и мы, — князь, Иван Иванович и я. Привели однажды перед вечером князю извозчика на Смоленский вокзал, — плохонького, за шесть гривен, — а мне, на Курский, за полтора целковых, на серой резвой кобыле, — и мы расстались, даже и не попрощавшись друг с другом. И остался Иван Иванович в своем мрачном коридоре, в своей клетке с тусклым стеклом над дверью, и разъехались мы с князем в совершенно разные стороны, расстав в все руки чаевые и севши каждый на свою пролетку, — князь, кажется, довольно равнодушный, а я бодрый, во всем новеньком, смутно ждущий какой-то чудесной встречи в вагоне, в пути... И помню, как сейчас: ехал я к Кремлю, а Кремль был озарен вечерним солнцем, ехал через Кремль, мимо соборов, — ах, как хороши они были, боже мой! — потом по пахучей от всякой москательи Ильинке, где уже была вечерняя тень, потом по Покровке, уже осеняемой звоном и гулом колоколов, благословляющих счастливо кончившийся суетный день, — ехал и не просто радовался и самому себе, и всему миру, а истинно тонул в радости существования, как-то мгновенно, еще на Арбатской площади, забыв и «Северный Полюс», и князя, и Иван Ивановича, и был бы, вероятно, очень удивлен, если бы мне сказали тогда, что навсегда сохранятся и они в том сладком и горьком сне прошлого, которым до могилы будет жить моя душа, и что будет некий день, когда буду я тщетно звать и к ним:

— Милый князь, милый Иван Иванович, где-то гниют теперь ваши кости? И где наши общие глупые надежды и радости, наша далекая московская весна?

## СКАРАБЕИ

Вижу себя в Каире, в Булакском музее.

Когда входил во двор, пара буйволов медленно влекла к подъезду длинные дроги, на которых высился громадный саркофаг. Усмехнувшись, подумал:

— Еще один великий царь...

Разноцветные гранитные саркофаги, гробы из золотистого лакированного дерева загромаждали вестибюль. Пряно, сухо и тонко пахло — священный аромат мумий, как бы сама душа сказочной египетской древности. Но буднично и деловито перекликались, что-то спрашивали друг у друга, что-то кому-то громко приказывали быстро проходившие по звонким коридорам и сбегавшие с главной лестницы чиновники, принимавшие новую партию тысячелетних покойников.

А пройдя между гробами в вестибюле, я вступил в залы, блистающие мертвенной чистотой и полные других гробов. И здесь оно, это тонкое и сухое благовоение, древнее, священное! Долго ходил и опять долго смотрел на маленькие черные мощи Рамзеса Великого в его стеклянном ящике. Да, да, подумать только: вот я возле самого Великого Рамзеса, его подлинного тела, пусть иссохшего, почерневшего, превратившегося в одни кости, но все же его, его!

А рядом — скарабеи Мариетта. Мариетт поместил в особой витрине, разложил в хронологическом порядке, все собранные им царские скарабеи — триста чудесных жучков из ляпис-лазури и серпентина. На этих жучках писали имена усопших царей, их клали на грудь царских мумий, как символ рождающейся из земли и вечно возрождающейся, бессмертной жизни. Мариетт собрал их — и выставил на удивление всему человечеству:

— Вот вся история Египта, вся жизнь его за целых пять тысяч лет.

Да, пять тысяч лет жизни и славы, а в итоге — игрушечная коллекция камешков! И камешки эти — символ вечной жизни, символ воскресения! Горько усмехаться или радоваться?

Все-таки радоваться. Все-таки быть в том вовеки неистребимом и самом дивном, что до сих пор кровно связывает мое сердце с сердцем, остывшим несколько тысячелетий тому назад, с сердцем, на коем тысячелетия покоился этот воистину божественный кусочек ляпис-лазури, — с человеческим сердцем, которое в те легендарные дни так же твердо, как и в наши, отказывалось верить в смерть, а верило только в жизнь. Все пройдет — не пройдет только эта вера!

*10 мая 1924*

## НАДПИСИ

Вечер был прекрасный, и мы опять сидели под греческим куполом беседки над обрывом, глядя на долину, на Рейн, на голубые дали к югу и низкое солнце на западе. Наша дама поднесла лорнет к глазам, посмотрела на колонны беседки — они, конечно, сверху донизу покрыты надписями туристов — и сказала своим обычным медлительно-презрительным тоном:

— Чувствительный немец свято чтит эти узаконенные путеводителями «места с прекрасным видом», *schöne Aussicht*. И считает неперменным долгом расписаться: был и любовался Фриц такой-то.

Старичок-сенатор тотчас же возразил:

— Но позвольте скромно заметить, что тут есть фамилии и французские, и английские, и русские, и всякие иные прочие.

— Все равно, — сказала дама. — «Сию станцию проезжал Иванов седьмой». И совершенно справедливая резолюция следующего проезжего: «Хоть ты и седьмой, а дурак!»

Все мы засмеялись, и, вспоминая некоторые крымские и кавказские места, особенно излюбленные расписывающимися Ивановыми, все более или менее блеснули остроумием над путешествующим обывателем, а старичок пожал плечом и сказал:

— А я думаю, господа, что ваше остроумие над пошлостью этого обывателя гораздо пошлее, не говоря уже о вашем бессердечии и — о лицемерии, ибо кто же из вас тоже не расписывался в том или другом месте и в той или иной форме? Расписывается (и будет расписываться во веки веков) вовсе не один Фриц или Иванов. Все человечество страдает этой слабостью. Вся земля покрыта нашими подписями, надписями и записями. Что такое литература, история? Вы думаете, что Гомером, Толстым, Нестором руководили не те же самые побуждения, что и седьмым Ивановым? Те же самые, уверяю вас.

— Ох, сколь вы привержены к парадоксам, ваше высокопревосходительство, — сказала дама.

Но старичок продолжал:

— Говорят, что человек есть говорящее животное. Нет, вернее, человек есть животное пишущее. И количеству и разнообразию человеческих надписей — если уж говорить только о надписях — положительно нет числа. Одни вырезаны, выбиты, другие начертаны, нарисованы. Одни собственной рукой, другие рукой наследников, внуков, правнуков. Одни вчера, другие десять, сто лет тому назад или же века, тысячелетия. Они то длинные, то кратки, то горды, то скромны, даже чрезмерно скромны, то пышны, то просты, то загадочны, то как нельзя более точны, то без всяких дат, то с датами, говорящими не только о месяце и годе того или иного события, но даже о числе, о часе; они то пошлы, то изумительны по силе, глубине, поэзии, выраженной иногда в какой-нибудь одной строке, которая во сто раз ценнее многих и многих так называемых великих произведений словесности. В конце же концов все эти несметные и столь друг на друга непохожие человеческие следы производят разительно одинаковое впечатление. Так что, если уж смеяться, то следует смеяться надо всеми. В Риме в таверне написано:

«Здесь ели и пили в прошлом столетии писатель Гоголь и художник Иванов», — далеко не седьмой, как изволите знать. А не сохранилось ли надписи на подоконнике в Миргороде о том, что в позапрошлом столетии некто кушал однажды с отменным удовольствием дыню? Весьма возможно. И, по-моему, между этими двумя надписями нет ровно никакой разницы...

— Мне вот сейчас пришло в голову, — продолжал он, — где я на своем веку бывал и какие надписи видел? Оказывается, даже и счесть невозможно. Надписи перстнями на зеркалах в отдельных кабинетах ресторанов. Надписи клинописью. Надписи на колоколе в заштатном городе Чернаве, — имя, отчество и фамилия купца такой-то гильдии, создателя сего колокола. Гиероглифы на обелисках, на развалинах Карнакских капищ. Надписи на триумфальных цезарских арках. Каракули карандашом на голубце возле одного святого колодца в непролазной глуши Керженских лесов: «Поситили грешный Ефим и Прасковья». Надписи сказочно-великолепной вязью в мечети Омара, в Айя-Софии, в Дамаске, в Каире. Тысячи имен и инициалов на старых деревьях и на скамейках в усадьбах и городах, в Орле и Кисловодске, в Царском Селе и в Ореанде, в Нескучном и в Версале, в Веймаре и Риме, в Дрездене и Палермо. Больше же всего, конечно, эпитафий. Где? Опять-таки даже счесть трудно. На деревянных и каменных крестах, на всяческих мавзолеях, на гранитных и сикоморовых саркофагах, на пеленах мумий, на медных досках, на железных плитах, на урнах и стелах, на драгоценных шалях, покрывающих гробы халифов, на скользких полах средневековых соборов и на столбиках из песчаника. Я глядел на эти надгробные паспорта в степях и пустынях, на Чернавском погосте и на Константинопольских Полях Смерти, на Волковом кладбище и под Дамаском, где среди песков стоят несметные рогатые бугорки из глины в

виде седла, в московском Донском монастыре и в Иосафатовой долине под Иерусалимом, в Петропавловском соборе и в катакомбах на Аппиевой дороге, на берегах Бретани и в сирийских криптах, над прахом Данте и над могилой дурочки Фени в Задонске. А, есть отчего впасть в парадоксальность, сударыня! Вы скажете, что вы говорили не о том. Вас, как и многих других, возмущают надписи вот вроде этих, то есть те, что вкривь и вкось покрывают развалины романтических замков и башен, внутренность вышки над куполом римского Петра, ворота на Байдарском перевале, верхушку пирамиды Хеопса, скалы в Дарьяльском ущелье и в Альпах, где они бьют в глаза издали, пишутся запасливыми путешественниками красной и белой краской? Вас приводит в негодование проявление пошлости, обывательщины, как говорят в подобных случаях, — дерзость мещанина, прикладывающего свою руку всюду, где он ни ступит?

— В негодование я не прихожу, — сказала дама, — но что надписи эти в достаточной мере противны, не скрываю. Вы, ваше высокопревосходительство, нынче в философском настроении и хотите высказать, очевидно, ту бесспорную истину, что все, мол, суета сует и что перед лицом господина бога совершенно равны и Данте, и какая-то Феня. Мол, река времен в своем теченье уносит все дела людей, то есть и Хеопса, и Фрица, и Иванова первого, и Иванова тысячу семьсот семьдесят седьмого. Вы эту Америку открыли? Да?

Но старичок только усмехнулся.

— Вы как нельзя более проникательны, мой старый друг, — ответил он. — За свою долгую жизнь я пришел к чудовищным выводам относительно человеческого ума и человеческой осведомленности насчет даже самых бесспорных истин и насчет возможности еще долго напоминать их без всякого риска. Кроме того, мне просто всегда очень нравились старые истины, с

годами же я становлюсь прямо обожателем их, ибо ведь это только истерическим пороссятам из нынешних модернистов простительно думать, что мир лет десять тому назад стал совершенно неизвестным по сравнению со всей предыдущей мировой историей. Было время, когда и я весьма немногим отличался от прочих. Прочие посягали на Иванова седьмого, а я смотрю, бывало, на клинопись и думаю: «Хоть ты и Вавилон построил и Сезостриса, как говорится, на голову разбил, а дурак!» Ну, а теперь я снисходительнее отношусь и к Навуходоноору и к Иванову.

— И даже с нежностью, — сказала дама.

— И даже с нежностью, — подтвердил старичок. — Только, знаете, я даже и в былые времена был порою ей подвержен. Вот хоть бы это: «Посетили грешные». Помню, прочитал — и расчувствовался ужасно. Ах, до чего хорошо! Казалось бы, зачем они расписались? И что мне в этой Прасковье, в этом Ефиме? А вот хорошо, и прежде всего как раз потому, что это не Карл Великий, а именно какой-то никому не ведомый Ефим, оставивший для меня, ему тоже не ведомого, как бы частицу своей души в один из ее самых заветных моментов. А эти изодранные перстняки, точно паутиной покрытые зеркала в кабинетах? Неужели они никогда не трогали вас? Ведь вы только подумайте: там, где-то в зале, играла музыка, а некто пьяный слушал, плакал, думал, что нет в мире несчастнее его судьбы, нет выше его чувства, и повторял, что его «лебединая песня пропета», разрывал себе душу сладкими воспоминаниями о том будто бы счастье, которое будто бы было «когда-то». Пошлость, цыганщина? Но разве важно, отчего именно счастлив или несчастлив человек? Все слезы одинаковы, все они капли одной и той же влаги! Да и не так уж отличен человек от человека, моя дорогая. Раз ты Иванов и я Иванов — в чем разница? В том,

что ты седьмой, а я семнадцатый? Имя Иванова, написанное на могильном кресте, конечно, звучит иначе, чем тогда, когда оно написано на садовой скамейке или в ресторане. А ведь, в сущности, все человеческие надписи суть эпитафии, поелику касаются момента уж прошедшего, частицы жизни уже умершей.

— Меня коммивояжеры, счастливы они или нет, все-таки не умиляют, Алексей Алексеич, — сказала дама.

— А в иной час, — возразил старичок упрямо, — мне черт с ним, что он коммивояжер, раз этот «иной час» есть час его великой скорби или радости. Нет, надписи на зеркалах меня ужасно всегда трогали! Трогали и инициалы на скамейках и деревьях, вырезанные тоже по случаю того, что когда-то «была чудесная весна» и «хороша и бледна, как лилея, в той аллее стояла она...» Тут опять то же самое: не все ли равно, чьи имена, чьи инициалы — Гете или Фрица, Огарева или Епиходова, Лизы из «Дворянского гнезда» или ее горничной? Тут главное все-таки в том, что была «до ланит восходящая кровь» и заветная скамья, что «шиповник алый цвел» (и, конечно, отцвел в свой срок), что блаженные часы проходят и что надо, необходимо (почему, один бог знает, но необходимо) хоть как-нибудь и хоть что-нибудь сохранить, то есть противопоставить смерти, отцветанию шиповника. Тут вечная, неустанная наша борьба с «рекой забвения». И что ж, разве эта борьба ничего не дает, разве она уже совсем бесплодна? Нет, тысячу раз нет! Ибо ведь в противном случае все пошло бы к черту — все искусства, вся поэзия, все летописи человечества. Зачем бы все это существовало, если бы мы не жили ими, то есть, говоря иначе, не продолжали бы, не поддерживали жизнь всего того, что называется прошлым, бывшим? А оно существует! У людей три тысячи лет навертываются слезы на глаза, когда они читают про слезы

Андромахи, провожающей с ребенком на руках Гектора. Я сорок лет умиляюсь, вспоминая умиление, с которым выводили свои каракули Ефим и Прасковья. И посему да здравствуют во веки веков и Андромаха, и Прасковья, и Вертер, и Фриц, и Гоголь, и Иван Никифорович, полтораста лет тому назад скушавший в Миргороде дыню и записавший сие событие!

И, поднявшись со скамьи, старичок снял шляпу и, странно улыбаясь, потряс ею в воздухе.

28 июня 1924

## ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ

В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик-военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.

— Налеву, ваше превосходительство, — грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево.

В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела медом; ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи; из-за печной заслонки сладко пахло щами — разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове — седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:

— Эй, кто там!

Тотчас вслед затем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.

— Добро пожаловать, ваше превосходительство, — сказала она. — Покушать изволите или самовар прикажете?

Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:

— Самовар. Хозяйка тут или служишь?

— Хозяйка, ваше превосходительство.

— Сама, значит, держишь?

— Так точно. Сама.

— Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?

— Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.

— Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.

Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь.

— И чистоту люблю, — ответила она. — Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.

— Надежда! Ты? — сказал он торопливо.

— Я, Николай Алексеевич, — ответила она.

— Боже мой, боже мой! — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. — Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?

— Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?

— Вроде этого... Боже мой, как странно!

— Что странно, сударь?

— Но все, все... Как ты не понимаешь!

Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:

— Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?

— Мне господа вскоре после вас вольную дали.

— А где жила потом?

— Долго рассказывать, сударь.

— Замужем, говоришь, не была?

— Нет, не была.

— Почему? При такой красоте, которую ты имела?

— Не могла я этого сделать.

— Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?

— Что ж тут объяснять. Небось помните, как я вас любила.

Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал.

— Все проходит, мой друг, — забормотал он. — Любовь, молодость — все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».

— Что кому бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело.

Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:

— Ведь не могла же ты любить меня весь век!

— Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили, — сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня — помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи», — прибавила она с недоброй улыбкой.

— Ах, как хороша ты была! — сказал он, качая головой. — Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?

— Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.

— А! Все проходит. Все забывается.

— Все проходит, да не все забывается.

— Уходи, — сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. — Уходи, пожалуйста.

И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:

— Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.

Она подошла к двери и приостановилась:

— Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.

— Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, — ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. — Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно, — жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал, — пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.

Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее.

— Прикажи подавать...

Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебно прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»

К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцей, все меняя черные колени, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:

— А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?

— Давно, Клим.

— Баба — ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает.

— Это ничего не значит.

— Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал вовремя — пеняй на себя.

— Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду...

Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:

«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи...» Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»

И, закрывая глаза, качал головой.

*20 октября 1938*

## БАЛЛАДА

Под большие зимние праздники был всегда, как баня, натоплен деревенский дом и являл картину странную, ибо состояла она из просторных и низких комнат, двери которых все были раскрыты напролет, — от прихожей до диванной, находившейся в самом конце дома, — и блистала в красных углах восковыми свечами и лампадами перед иконами.

Под эти праздники в доме всюду мыли гладкие дубовые полы, от топки скоро сохнувшие, а потом застилали их чистыми попонами, в наилучшем порядке расставляли по своим местам сдвинутые на время работы мебели, а в углах, перед золочеными и серебряными окладами икон, зажигали лампады и свечи, все же прочие огни тушили. К этому часу уже темно синела зимняя ночь за окнами и все расходилось по своим спальным горницам. В доме водворялась тогда полная тишина, благоговейный и как бы ждущий чего-то покой, как нельзя более подобающий ночному священному виду икон, озаренных скорбно и умирительно.

Зимой гостила иногда в усадьбе странница Машенька, седенькая, сухенькая и дробная, как девочка. И вот только она одна во всем доме не спала в такие ночи: придя после ужина из людской в прихожую

и сняв с своих маленьких ног в шерстяных чулках валенки, она бесшумно обходила по мягким пологам все эти жаркие, таинственно освещенные комнаты, всюду становилась на колени, крестилась, кланялась перед иконами, а там опять шла в прихожую, садилась на черный ларь, спокон веку стоявший в ней, и вполголоса читала молитвы, псалмы или же просто говорила сама с собой. Так и узнал я однажды про этого «божьего зверя, господня волка»: услышал, как молилась ему Машенька.

Мне не спалось, я вышел поздней ночью в зал, чтобы пройти в диванную и взять там что-нибудь почитать из книжных шкапов. Машенька не слыхала меня. Она что-то говорила, сидя в темной прихожей. Я, приостановясь, прислушался. Она наизусть читала псалмы.

— Услышь, господи, молитву мою и вземли воплю моему, — говорила она без всякого выражения. — Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец на земле, как и все отцы мои...

Скажите богу: как страшен ты в делах твоих!

Живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится... На аспиде и василиска наступишь, попрешь льва и дракона...

На последних словах она тихо, но твердо повысила голос, произнесла их убежденно: попрешь льва и дракона. Потом помолчала и, медленно вздохнув, сказала так, точно разговаривала с кем-то:

— Ибо его все звери в лесу и скот на тысяче гор...

Я заглянул в прихожую: она сидела на ларе, ровно спустив с него маленькие ноги в шерстяных чулках и крестом держа руки на груди. Она смотрела перед собой, не видя меня. Потом подняла глаза к потолку и раздельно промолвила:

— И ты, божий зверь, господень волк, моли за нас царицу небесную.

Я подошел и негромко сказал:

— Машенька, не бойся, это я.

Она уронила руки, встала, низко поклонилась:

— Здравствуйте, сударь. Нет-с, я не боюсь. Чего ж мне бояться теперь? Это в младости глупа была, всего боялась. Темнозрачный бес смущал.

— Сядь, пожалуйста, — сказал я.

— Никак нет, — ответила она. — Я постою-с.

Я положил руку на ее костлявое плечико с большой ключицей, заставил ее сесть и сел с ней рядом.

— Сиди, а то я уйду. Скажи, кому это ты молилась?

Разве есть такой святой — господний волк?

Она опять хотела встать. Я опять удержал ее:

— Ах какая ты! А еще говоришь, что не боишься ничего! Я тебя спрашиваю: правда, что есть такой святой?

Она подумала. Потом серьезно ответила:

— Стало быть, есть, сударь. Есть же зверь Тигр-Ефрат. Раз в церкви написан, стало быть, есть. Я сама его видела-с.

— Как видела? Где? Когда?

— Давно, сударь, в незапамятный срок. А где — и сказать не умею: помню одно — мы туда трое суток ечали. Было там село Крутые Горы. Я и сама дальняя, — может, изволили слышать: рязанская, — а тот край еще ниже будет, в Задонщине, и уж какая там местность грубая, тому и слова не найдешь. Там-то и была заглазная деревня наших князей, ихнего дедушки любимая, — целая, может, тысяча глиняных изб по голым буграм-косогорам, а на самой высокой горе, на венце ее, над рекой Каменной, господский дом, тоже голый весь, трехъярусный, и церковь желтая, колонная, а в той церкви этот самый божий волк: посередь, стало быть, плита чугунная над могилой князя, им зарезанного, а на правом столпе — он сам, этот волк, во весь свой рост и склад написанный: сидит в серой

и ~~т~~убе на густом хвосту и весь тянется вверх, упирается  
 п ~~р~~средними лапами в землю — так и зарит в глаза:  
 о ~~ж~~ерелок седой, остистый, толстый, голова большая,  
 о ~~с~~троухая, клыками оскаленная, глаза яркие, кровавые,  
 о ~~к~~руг же головы золотое сияние, как у святых и угод-  
 н ~~и~~ков. Страшно даже вспомнить такое диво дивное! До  
 к ~~о~~го живой сидит глядит, будто вот-вот на тебя  
 и ~~к~~инется!

— Постой, Машенька, — сказал я, — я ничего не  
~~т~~онимаю, зачем же и кто этого страшного волка в  
~~к~~еркви написал? Говоришь — он зарезал князя: так  
~~к~~то чему ж он святой и зачем ему быть надо княжеской  
~~м~~огилкой? И как ты попала туда, в это ужасное село?  
 Расскажи все толком.

И Машенька стала рассказывать:

— Попала я, сударь, туда по той причине, что была  
 тогда крепостной девушкой, при доме наших князей  
 прислуживала. Была я сирота, родитель мой, баяли,  
 какой-то прохожий был, — беглый, скорее всего, —  
 незаконно обольстил мою матушку, да и скрылся бог  
 весть куда, а матушка, родивши меня, вскорости скон-  
 чалась. Ну и пожалели меня господа, взяли с двора в  
 дом, как только сравнялось мне тринадцать лет, и при-  
 ставили на побегушки к молодой барыне, и я так чем-  
 то полюбилась ей, что она меня ни на час не отпускала  
 от своей милости. Вот она-то и взяла меня с собой в  
 войяж, как задумал молодой князь съездить с ней в  
 свое дедовское наследие, в эту самую заглазную дерев-  
 ню, в Крутые Горы. Была та вотчина в давнем запусте-  
 нии, в безлюдии, — так и стоял дом забитый, забро-  
 шенный с самой смерти дедушки, — ну и захотели  
 наши молодые господа проведать ее. А какой страш-  
 ной смертью помер дедушка, о том всем нам было  
 ведомо по преданию.

В зале что-то слегка треснуло и потом упало, чуть  
 стукнуло. Машенька скинула ноги с ларя и побежала в

зал: там уже пахло гарью от упавшей свечи. Она замяла еще чадивший свечной фитиль, затоптала затлевший ворс попоны и, вскочив на стул, опять зажгла свечу от прочих горевших свечей, воткнутых в серебряные лунки под иконой, и приладила ее в ту, из которой она выпала: перевернула ярким пламенем вниз, покапала в лунку потекшим, как горячий мед, воском, потом вставила, ловко сняла тонкими пальцами нагар с других свечей и опять соскочила на пол.

— Ишь как весело затеплилось, — сказала она, крестясь и глядя на ожившее золото свечных огоньков. — И какой дух-то церковный пошел!

Пахло сладким чадом, огоньки трепетали, лик образа древне глядел из-за них в пустом кружке серебряного оклада. В верхние, чистые стекла окон, густо обмерзших снизу серым инеем, чернела ночь и близко белели отягощенные снежными пластами лапы ветвей в палисаднике. Машенька посмотрела на них, еще раз перекрестилась и вошла опять в прихожую.

— Почивать вам пора, сударь, — сказала она, садясь на ларь и сдерживая зевоту, прикрывая рот своей сухой ручкой. — Ночь-то уж грозная стала.

— Почему грозная?

— А потому, что потаенная, когда лишь алектор, петух, по-нашему, да еще ночный вран, сова, может не спать. Тут сам господь землю слушает, самые главные звезды начинают играть, проруби мерзнут по морям и рекам.

— А что ж ты сама не спишь по ночам?

— И я, сударь, сколько надобно, сплю. Старому человеку много ли сна полагается? Как птице на ветке.

— Ну, ложись, только доскажи мне про этого волка.

— Да ведь это дело темное, давнее, сударь, — может, баллада одна.

— Как ты сказала?

— Баллада, сударь. Так-то все наши господа говорили, любили эти баллады читать. Я, бывало, слушаю — мороз по голове идет:

Воет сыр-бор за горою,  
Метет в белом поле,  
Стала вьюга-пелогода,  
Запала дорога...

До чего хорошо, господи!

— Чем хорошо, Машенька?

— Тем и хорошо-с, что сам не знаешь чем. Жутко.

— В старину, Машенька, все жутко было.

— Как сказать, сударь? Может, и правда, что жутко, да теперь-то все мило кажется. Ведь когда это было? Уж так-то давно, — все царства-государства прошли, все дубы от древности рассыпались, все могилки сровнялись с землей. Вот и это дело, — на дворе не его слово в слово сказывали, а правду ли? Дело это будто еще при великой царице было и будто оттого князь в Крутых Горах сидел, что она на него за что-то разгневалась, заточила его вдаль от себя, и он очень лют сделался — пуце всего на казнь рабов своих и на любовный блуд. Очень еще в силе был, а касательно наружности отлично красив и будто бы не было ни на дворе у него, ни по деревням его ни одной девушки, какую бы он к себе, в свою сераль, на первую ночь не требовал. Ну вот и впал он в самый страшный грех: польстился даже на новобрачную сына своего родного. Тот в Петербурге в царской военной службе был, а когда нашел себе суженую, получил от родителя разрешение на брак и женился, то, стало быть, приехал с новобрачной к нему на поклон, в эти самые Крутые Горы. А он и прельстись на нее. Про любовь, сударь, недаром поется:

Жар любви во всяком царстве,  
Любится земной весь круг...

И какой же может быть грех, если хоть и старый человек мыслит о любимой, вздыхает о ней? Да ведь тут-то дело совсем иное было, тут вроде как родная дочь была, а он на блуд простирал алчные свои намерения.

— Ну и что же?

— А то, сударь, что, заметивши такой родительский умысел, решил молодой князь тайком бежать. Подготовил конюхов, задарил их всячески, приказал к полночи запрячь тройку порезвей, вышел, крадучись, как только заснул старый князь, из родного дома, вывел молодую жену — и был таков. Только старый князь и не думал спать: он еще с вечера все узнал от своих наушников и немедля в погоню пошел. Ночь, мороз несказанный, аж кольца округ месяца лежат, снегов в степи выше роста человеческого, а ему все нипочем: летит, весь увешанный саблями и пистолетами, верхом на коне, рядом со своим любимым доезжачим, и уж видит впереди тройку с сыном. Кричит, как орел: стой, стрелять буду! А там не слушают, гонят тройку во весь дух и пыл. Стал тогда старый князь стрелять в лошадей и убил на скаку сперва одну пристяжную, правую, потом другую, левую, и уж хотел коренника свалить, да глянул вбок и видит: несется на него по снегам, под месяцем, великий, небывалый волк, с глазами, как огонь, красными и с сияньем округ головы! Князь давай палить и в него, а он даже глазом не моргнул: вихрем нанесся на князя, прынул к нему на грудь — и в единый миг пересек ему кадык клыком.

— Ах, какие страсти, Машенька,— сказал я.— Истинно баллада!

— Грех, не смейтесь, сударь,— ответила она.— У бога всего много.

— Не спорю, Машенька. Только странно все-таки, что написали этого волка как раз возле могилы князя, зарезанного им.

— Его написали, сударь, по собственному желанию князя: его домой еще живого привезли, и он успел перед смертью покаяться и причастье принять, а в последний свой миг приказал написать того волка в церкви над своей могилой: в назидание, стало быть, всему потомству княжескому. Кто ж его мог по тем временам ослушаться? Да и церковь-то была его домашняя, им самим строенная.

*3 февраля 1938*

## ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ

В июне того года он гостил у нас в имении — всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал:

— Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!

На Петров день к нам съехалось много народу, — были именины отца, — и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну...

В сентябре он приехал к нам всего на сутки — проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:

— Удивительно ранняя и холодная осень!

Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спо-

койными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, — мы знали какой, — и это было и трогательно и жутко. Отец спросил:

— Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?

— Да, если позволите, утром, — ответил он. — Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому.

Отец легонько вздохнул:

— Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра...

Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, — я вздумала раскладывать пасьянс, — он молча ходил из угла в угол, потом спросил:

— Хочешь, пройдемся немного?

На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:

— Хорошо...

Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:

Какая холодная осень!  
Надень свою шаль и капот...

— Капота нет, — сказала я. — А как дальше?

— Не помню. Кажется, так:

Смотри — меж чернеющих сосен  
Как будто пожар восстает...



— Какой пожар?

— Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень свою шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах, боже мой, боже мой!

— Что ты?

— Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...

Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:

— Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...

Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.

— Как блестят глаза,— сказал он.— Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?

Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то короткий срок — ведь все в конце концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:

— Не говори так! Я не переживу твоей смерти!

Он, помолчав, медленно выговорил:

— Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.

Я горько заплакала...

Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером,— в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед,— и мы перекрестили его с каким-то порывистым

отчаянием. Глядя вслед, постояли на крыльце в том оцепенении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос...

Убили его — какое странное слово! — через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня, — то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не две недели, — я бабой, в лаптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, — и прибыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после

того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем французенкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлэн, холеными ручками с серебряными ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнуточками; а я жила и все еще живу в Ницце чем бог пошлет... Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году — и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!

Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни — остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня — с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.

*3 мая 1944*

## БЕРНАР

Дней моих на земле осталось уже мало.

И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами.

— Я крепко спал, когда Бернар швырнул горсть песку в мое окно...

Так начинается «На воде» Мопассана, так будил его Бернар перед выходом «Бель Ами» из Антибского порта 6 апреля 1888 года.

— Я открыл окно, и в лицо, в грудь, в душу мне пахнул очаровательный холодок ночи. Прозрачная синева неба трепетала живым блеском звезд...

— Хорошая погода, сударь.

— А ветер?

— С берега, сударь.

Через полчаса они уже в море:

— Горизонт бледнел, и вдали, за бухтой Ангелов, виднелись огни Ниццы, а еще дальше — вращающийся маяк Вильфранша... С гор, еще невидимых, — только чувствовалось, что они покрыты снегом, — доносилось иногда сухое и холодное дыхание...

— Как только мы вышли из порта, яхта ожила, повеселела, ускорила ход, заплясала на легкой и мелкой зыби... Наступал день, звезды гасли... В далеком небе, над Ниццей, уже зажигались каким-то особенным розовым огнем снежные хребты Верхних Альп...

— Я передал руль Бернару, чтобы любоваться восходом солнца. Крепнущий бриз гнал нас по трепет-

ной волне, я слышал далекий колокол,— где-то звонили, звучал Angelus... Как люблю я этот легкий и свежий утренний час, когда люди еще спят, а земля уже пробуждается! Вдыхаешь, пьешь, видишь рождающуюся телесную жизнь мира,— жизнь, тайна которой есть наше вечное и великое мучение...

— Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен чистоте и порядку, заботлив и бдителен. Это чистосердечный и верный человек и превосходный моряк...

Так говорил о Бернаре Мопассан. А сам Бернар сказал про себя следующее:

— Думаю, что я был хороший моряк. *Je crois bien que j'étais un bon marin.*

Он сказал это, умирая,— это были его последние слова на смертном одре в тех самых Антибах, откуда он выходил на «Бель Ами» 6 апреля 1888 года.

Человек, который видел Бернара незадолго до его смерти, рассказывает:

— В продолжение многих лет Бернар делил бродячую морскую жизнь великого поэта, не расставался с ним до самого рокового отъезда его к доктору Бланш, в Париж.

— Бернар умер в своих Антибах. Но еще недавно видел я его на солнечной набережной маленького Антибского порта, где так часто стояла «Бель Ами».

— Высокий, сухой, с энергичным и продубленным морской солью лицом, Бернар не легко пускался в разговоры. Но стоило только коснуться Мопассана, как голубые глаза его мгновенно оживали, и нужно было слышать, как говорил он о нем!

— Теперь он умолк навеки. Последние его слова были: «Думаю, что я был хороший моряк».

Я живо представляю себе, как именно сказал он эти слова. Он сказал их твердо, с гордостью, перекрестившись черной, иссохшей от старости рукой:

— *Je crois bien que j'étais un bon marin.*

А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что бог всякому из нас даст вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире «было хорошо» и что усердное исполнение этого божьего намерения есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, гордость. И Бернар знал и чувствовал это. Он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же ему было не сказать того, что он сказал в свою последнюю минуту? «Ныне отпускаеши, владыко, раба твоего, и вот я осмеливаюсь сказать тебе и людям: думаю, что я был хороший моряк».

— В море все заботило Бернара, писал Мопассан: и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идет бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль на западе... Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части...

Да какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал ее. Зачем, почему?

Но ведь сам бог любит, чтобы все было «хорошо». Он сам радовался, видя, что его творения «весьма хороши».

Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Антоновские яблоки (стр. 20). Рассказ «Антоновские яблоки» в творчестве Бунина очень важен, так как с него начинается исследование писателем деревенско-помещичьего уклада русской жизни. Этот уклад Бунин хорошо знал и любил с детства, которое провел в небольшом имении, принадлежавшем его семье. «Лет с семи, — вспоминал он, — началась для меня жизнь, тесно связанная в моих воспоминаниях с полем, с мужицкими избами... Чуть не все свободное от учения время я, вплоть до поступления в гимназию, да и приезжая из гимназии на каникулы, проводил в ближайших от Бутырок (хутор Елецкого уезда, имение Буниных. — А. С.) деревушках, у наших бывших крепостных и у однодворцев. Явились друзья, и порой я по целым дням стерег с ними в поле скотину» (И. А. Бунин. Собр. соч. в девяти томах, т. 9, с. 256). С самых ранних лет наблюдал Бунин то сходство образа жизни и быта уездного мелкопоместного дворянства с деревенским укладом, о котором он пишет в «Антоновских яблоках» и которому посвятит повесть «Суходол». Нигде, был убежден Бунин, жизнь дворян и крестьян так тесно и близко не связана, как в России. Эта мысль была для него главной в его полемике с Толстым и Тургеневым, которые, по его мнению, изображали дворянство образованное, просвещенное, лишь «верхний слой, редкие оазисы культуры». Бунин считал, что быт и нравы большинства русского дворянства и крестьянства имели много общих черт. В «Антоновских яблоках» упор сделан писателем пока еще в

большей степени на деревенский и мелкопоместный быт, нежели на *характеры*, хотя портреты персонажей были зарисованы «с натуры»: деревенские старик со старухой, Арсений Семенович. Прототипом его был муж двоюродной сестры Бунина, Алексей Иванович Пушешников, «высокий, красивый, никогда ничего не читавший, страстный охотник, веселый общительный человек с прекрасным голосом», как вспоминала жена Бунина, Вера Николаевна (И. А. Б у н и н. Стихотворения, рассказы, повести. М., 1973, с. 505).

Стр. 34. «*Дворянин-философ*» — псевдоним Ф. И. Дмитриева-Мамолова (1728—ок. 1790). Романтическое пристрастие Бунина к старинному укладу жизни, к забытым книгам было ему свойственно всю жизнь и выразилось, в частности, в рассказе «Грамматика любви» (см.).

З а х а р В о р о б ь е в (стр. 43), З а б о т а (стр. 59). Оба рассказа написаны в десятые годы на Капри и относятся к тому периоду творчества Бунина, когда он занимался особенно пристально изучением характера русского крестьянина, продолжая исследование «*мужичьей России*», начатое в повести «Деревня». Эта повесть, по словам Горького, «была толчком, который заставил разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься... над строгим вопросом — быть или не быть России?» («Горьковские чтения». М., 1961, с. 53). В ту пору Бунин был близок с Горьким, переписывался с ним, беседовал о «Руси и ее истории», о людях из народа, которых оба прекрасно знали. «Меня занимает, — признавался Бунин, — ...душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина» (Собр. соч. в девяти томах, т. 9, с. 536). Эти черты Бунин рисовал в ряде рассказов о деревенских людях, стремясь проникнуть в их внутренний мир, в «светлые и темные, но почти всегда трагические основы» (как он полагал) русского характера. Оба начала, по мнению писателя, от рождения свойственны человеку и неподвластны историческим законам и условиям, и потому неизменны, абсолютны. Горького тоже интересовали в ту пору «разнодушие», многообразие черт русского человека; однако, в отличие от Бунина, он рассматривал их в неразрывной связи с историческим раз-

витием страны, верил в изменения как самой действительности, так и нравов.

**Л и р н и к Р о д и о н** (стр. 65). Реальной основой рассказа послужила встреча Бунина с малороссийским лирником Родионом летом 1896 года, во время его поездки по Днепру. Там же Буниным была записана и «Псалма про сироту», которая приводится в рассказе. Под текстом «Псалмы» — помета: «Киевская губ(ерния), Васильковский у(езд), Рокитянского стану, с(ело) Ромашек. Родион Кучеренко. Записано на Днепре 1896 г.» («Литературное наследство», т. 84, кн. 1, с. 401).

**Б р а т ь я** (стр. 74). Рассказ был написан под впечатлением путешествия Бунина в марте 1911 года на Цейлон, где писатель пробыл полмесяца. «Когда я был в Коломбо, — вспоминал Бунин, — меня равно поразили свет солнца, совершенно непередаваемый и слепящий, и учение Будды, в котором много от этого слепящего очи и душу солнца... После, в Одессе, я вышел на берег как пьяный. Я жмурился, я не мог глядеть на землю, освещенную солнцем: мне все чудился огненный свет Коломбо. Я хотел передать этот свет в «Братьях» (А. Б а б о р е к о. И. А. Бунин. М., 1967, с. 196—197). О возникновении замысла рассказа Бунин вспоминал: «После путешествия на Цейлон хотелось написать. У нашего тамошнего консула была, слышал там, молоденькая любовница сингалезка. Всю историю рикши выдумал, вспоминая это» («Литературное наследство», т. 84, кн. 1, с. 393).

Путешествие на «землю древнейшего человечества» потрясло Бунина, ибо он впервые воочию увидел колониальное рабство, пропасть, отделяющую колонизаторов от местного населения, влачащего жалкое, полудикое существование. По словам В. Н. Муромцевой-Буниной, на Цейлоне писатель «почти заболел. Не мог видеть рикш с окровавленными губами от бетеля» (А. Б а б о р е к о. И. А. Бунин, М., 1967, с. 158). Сам Бунин вспоминал о Цейлоне: «Голый черный человек, то есть рикша, во всю прыть мчит раскаленную лакированную колясочку, в которой сижу я — всегда с большим стыдом, к чести моей сказать... В Коломбо я глазам своим не верил, видя, как опасно, все время на чеку проходят англичане по улицам, — как они боятся осквернить себя

нечаянным *прикосновением* к тамилу, к сингалезу и вообще ко всякому «цветному человеку, ко всякому «презренному» (по их любимому выражению) дикарю» (Собр. соч. в девяти томах, т. 5, с. 482). Бунину, напротив, всегда был свойствен живой и участливый интерес к простому человеку, — достаточно вспомнить его рассказы о русских крестьянах: «Захар Воробьев», «Худая трава», «Лирник Родион» и др. Во время путешествия на Цейлон он с огромным интересом наблюдал жизнь местного населения. В Коломбо он всегда стремился ездить в вагонах третьего класса, чтобы наблюдать простых людей.

В рассказе «Братья» Бунин стремился также передать дух буддийского учения, которым был в то время увлечен. Согласно буддизму, земная жизнь, со всеми ее соблазнами и горестями — не что иное, как сплошное страдание, от которого человек должен себя избавить. Молодой рикша добровольно уходит из жизни для того, чтобы хотя на время обрести краткий отдых. Ибо, по буддийским верованиям, в будущем он снова и снова воплотится в каком-нибудь земном существе, вновь войдет в бесконечную «цепь» перевоплощений то в одном, то в другом облике (сансару) и, следовательно, опять познает краткий и мучительный жизненный «сон».

*Эпиграф* взят из «Сутты-Нипаты», одной из древнейших книг буддийского канона, в которой наиболее точно передано этическое учение Гаутамы (Будды) (563—483 до н. э.), древнеиндийского философа и проповедника.

Стр. 75. *Возвышенный* — Будда.

Стр. 84. *Ананда* — любимый ученик Будды.

Г р а м м а т и к а л ю б и и (стр. 103). О рождении замысла этого рассказа Бунин вспоминал так: «Мой племянник Коля Пушешников, большой любитель книг, редких особенно, приятель многих московских букинистов, добыл где-то и подарил мне маленькую старинную книжечку под заглавием «Грамматика любви». Прочитав ее, я вспомнил что-то смутное, что слышал еще в ранней юности от моего отца о каком-то бедном помещике из числа наших соседей, помещавшемся на любви к одной из своих крепостных, и вскоре выдумал и

написал рассказ с заглавием этой книжечки (от лица какого-то Ивлена, фамилию которого я произвел от начальных букв своего имени в моей обычной литературной подписи)» (Собр. соч. в девяти томах, т. 9, с. 369).

Стр. 112. *Есть бытие...* — начало стихотворения Е. А. Баратынского (1800—1844) «Последняя смерть». Бунин любил Баратынского и посвятил ему в 1900 г. статью, в которой писал, что его «скорбная жизнь» была поучительна, ибо поэт являл собою «искреннего и страстного *искателя истины*» (там же, с. 524).

Г о с п о д и н и з С а н - Ф р а н ц и с к о (стр. 115). На сходство этого рассказа с произведениями Л. Н. Толстого справедливо обращали внимание многие современники Бунина. Близость рассказа «Господин из Сан-Франциско» толстовским произведениям по силе обличения, по беспощадности и страстности изображения объясняется известным сходством настроений Толстого — в девятисотые годы и Бунина — в 1915 году, когда был написан рассказ. Шел второй год глубоко потрясшей Бунина первой мировой войны, которая сильно обострила в нем гражданские и нравственные чувства. (Недаром он всемогил, уже много лет спустя, что писал свой рассказ, «весьма волнуюсь», хотя обычно пишет спокойно.) На фоне мировой катастрофы, охватившей полконтинента, с особой силой всколыхнулась в Бунине его исконная антибуржуазность, неприятие буржуазного вещного мира. Поводом к написанию рассказа послужила случайность: увидев как-то в витрине магазина издание на русском языке повести Т. Манна «Смерть в Венеции», Бунин вспомнил слышанную им историю о смерти на Капри одного американца. Этот, чисто внешний, ход сюжета, развивающегося на фоне прекрасно знакомой Бунину обстановки поездок на Капри, где он бывал не раз, писатель наполнил насыщенной большим драматизмом мыслью (см. вступ. статью). Работа над рассказом поглотила у Бунина много времени и сил. По сохранившимся рукописям можно видеть, как напряженно протекал труд писателя, как упорно стремился он достичь предельной силы и сжатости, как избавлялся от прямолинейно-назидательных, публицистических страниц, от излишних

эпитетов, наконец от иностранных слов. Правил рассказ Бунина даже в 1952—1953 годы, когда готовил его для сборника, до выхода которого в свет не дождался.

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», наряду с повестью «Деревня», принес Бунину мировую славу. Очень высокого мнения о нем были Ромеи Роллан, Томас Манн, который считал, что он может быть поставлен рядом с «Полкушкой» и «Смертью Ивана Ильича» Л. Толстого.

Стр. 136. *На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек...* — древнеримский император Клавдий Нерон Тиберий (42 г. до н. э. — 37 г. н. э.), вошедший в историю как жестокий мрачный тиран, кровавый злодей и человеконенавистник. Последние двенадцать лет жизни Тиберий оставил Рим и, движимый страхом и подозрительностью, переселился на остров Капри.

Сны Чанга (стр. 140). В рассказе запечатлены размышления Бунина, навеянные его знакомством с искусством и философией древнего Востока (Библией, буддизмом, древискитайской философией). Бунин привлекала вера древних во внутренние силы человека, которые должны служить для его совершенствования. Но в то же время он резко отрицал их аскетизм, отречение от земных радостей во имя религиозной идеи, презрение к красоте и прелести мироздания, — отказ от жизни. Правду Бунин всегда стремился найти где-то посередине, воспринимая жизнь гармонически, во всем единстве ее светлых и темных сторон.

Стр. 141. *Правда еврея Иова...* — По библейскому преданию, Иову, усомнившемуся в справедливости божьего промысла, принадлежат слова: «Но где премудрость обретается? и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых»; «человек, рожденный женою, кратковремен и пресыщен печальми». *Правда мудреца из неведомого племени, Экклезиаста.* — Экклезиасту, философу и проповеднику, Библия приписывает слова: «Все — суета и томление духа»; «человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем»; «если человек проживет много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их, и пусть помнит о днях темных, которых

будет много». Слова капитана: «*Помни, человек... нет мне удовольствия в них*» — точная цитата из «Книги Экклезиаста» (Библия).

Стр. 148 *...следует ли кого-нибудь любить так сильно... оаши Будды... что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному.* — Согласно буддийскому учению, человек должен так самовоспитать себя, чтобы достичь высшей добродетели и знания, которые сделают его свободным от земных страстей. Тогда он достигнет нирваны (ощущения), полного безразличия и бесчувствия ко всему земному, и будет избавлен от страданий сансары — бесконечной цепи земных существований то в одном, то в другом облике. *Тао* (Дао) — в древнекитайской философии (даоизме) — «Путь», основа всего сущего во вселенной, источник всех вещей и явлений в мире. Человек, который следует Пути (Дао), должен покориться неизбежному, не впадать в «грех непослушания», и тогда он обретет «освобождение из петли». Будет неподвластен радостям и печалям земным и достигнет абсолютной гармонии с окружающим миром.

Стр. 156—157. «*Золотое кольцо в ноздре свиньи*», «*Коврами я убрала постель мою*» — слова из «Притч Соломоновых» (Библия), приводимые Буниным не точно. *Соломон Премудрый* — древнеиудейский царь, по преданию, автор некоторых книг Библии: «Притч», «Премудростей», «Песни песней».

Ст а р у х а (стр. 160). Обличительная энергия этого рассказа вызвана была гневом, который пробудила у Бунина первая мировая война, благословляемая царским правительством. «Миллионы народа... гонят на убой, а мы можем только возмущаться, не больше. Древнее рабство? Сейчас рабство такое, по сравнению с которым древнее рабство — сущий пустяк», — говорил писатель (А. Б а б о р е к о. И. А. Бунин. М., 1967, с. 206). Весной 1916 г., когда был создан рассказ «Старуха», Бунин записал в дневнике: «В газетах та же ложь: восхваление доблестей русского народа, его способностей к организации. Все это очень взволновало — «народ, народ!» А сами понятия не имеют (да и не хотят иметь) о нем. И что они сделали для него, для этого действительно несчастного народа?.. Все думаю о той лжи, что в газетах насчет

патриотизма народа. А война мужикам уже так осточертела, что даже не интересуется никто, когда рассказываешь, как наши дела. «Да что, пора бросать. А то в лавках товару стало мало. Бывало, зайдешь в лавку...» и т. д.» («В мире книг», 1973, № 7, с. 63—64). Целиком поглощенный переживаниями за судьбу России, Бунин в 1916 г. почти перестает писать; ему кажется, что наступившее «проклятое время» не дает возможности писателю донести свой голос до человеческого сердца; он переживает глубочайший творческий кризис. «Душевная и умственная тупость, слабость... Смертельно устал, — олять-таки уж очень давно, — и все не сдаюсь. Должно быть, большую роль сыграла тут война, какое великое душевное разочарование принесла она мне!» (там же, с. 64).

**Роза Иерихона** (стр. 164). Точное время написания рассказа неизвестно. Бунин не датировал «Розу Иерихона», а открыл его, в качестве введения, сборник рассказов и стихотворений, вышедший в Берлине в 1924 г. под тем же названием, а также восьмой том собрания сочинений. Таким образом, он придавал этому рассказу программное значение.

Стр. 165. *...совершила я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие* — путешествие на Ближний Восток, проделанное Буниным вместе с женой, В. Н. Муромцевой, весной 1907 г. *Пятиградие* — пять городов в Палестине, упоминаемых в Библии: Содом, Гоморра, Адма, Севоим и Сигор. *Рахиль* — по библейской легенде, жена патриарха Иакова.

**Далекое** (стр. 171). В записях Бунина двадцатых годов сохранился отрывок, в котором выражена мысль, легшая в основу рассказа «Далекое» и характерная для взглядов Бунина той поры: «Мы живем всем тем, чем живем, лишь в той мере, в какой постигаем цену того, чем живем. Обычно эта цена очень мала: возвышается она лишь в минуты восторга — восторга счастья или несчастья, яркого сознания приобретения или потери; еще — в минуты поэтического преображения прошлого в памяти» (И. А. Бунин, Собр. соч. в девяти томах, т. 9, с. 366).

**Скарабей** (стр. 180). Рассказ навеян, по свидетельству Бунина, «точным и живым» сном-воспоминанием о путешествии в

Египет в 1907 году. Оно описано в путевых очерках «Тень птицы» (глава «Свет Зодиака»).

Стр. 180. *Булак* — предместье Каира, где раньше находилась часть египетского национального музея, основанного в 1857 году египтологом Августом *Мариеттом* (1821—1881).

Т е м н ы е а л л е и (стр. 189). «Темные аллеи» стали первым рассказом книги Бунина, получившей то же название. Она вышла в Париже в 1946 году и включала в себя 38 рассказов, объединенных общей темой любви. Бунин считал ее «самой совершенной по мастерству» из всего им написанного. О возникновении замысла рассказа «Темные аллеи» он писал: «Перечитывал стихи Огарева и остановился на известном стихотворении:

Была чудесная весна,  
Они на берегу сидели,  
Во цвете лет была она,  
Его усы едва чернели...  
Кругом шиповник алый цвел,  
Стояла темных лип аллея...

Потом почему-то представилось то, чем начинается мой рассказ, — осень, ненастье, большая дорога, тарантас, в нем старый военный... Остальное все как-то само собой сложилось, выдумалось очень легко, неожиданно, — как большинство моих рассказов» (И. А. Б у н и н. Собр. соч. в девяти томах, т. 9, с. 371).

Б а л л а д а (стр. 195). Этот рассказ, вошедший в книгу «Темные аллеи», Бунину был очень дорог, хотя замысел его возник у писателя неожиданно. «...написать его, как и многие другие рассказы, — вспоминал Бунин, — ...побудила меня нужда в деньгах. Как-то... в Париже, я увидал однажды утром, что кошелек мой совсем пуст, и тотчас решил написать что-нибудь для «Последних новостей» (русская газета, выходившая в Париже. — А. С.), выдумать что-нибудь. И стал вспоминать Россию, ту усадьбу, где нередко жил почти каждый год в разные времена года, мысленно увидал зимний вечер в ее старом доме под какой-то большой праздник... И бог дал быстро выдумать нечто совершенно прекрасное (с вымышленной странницей Машенькой,

главной прелестью рассказа, с ее дивным почным бдением, дивной речью)...» (там же, с. 371—372).

**Холодная осень** (стр. 203). Название рассказа навеяно стихотворением А. А. Фета «Какая холодная осень!..» (оно цитируется в рассказе).

**Стр. 203. Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда... Это война!** — Франц-Фердинанд (1863—1914) — австрийский эрцгерцог. Убийство его 15/28 июня 1914 года членами тайной сербской националистической организации послужило поводом к началу первой мировой войны.

**Бернар** (стр. 209). Рассказ представляет собою краткие извлечения (данные в вольном переводе) из очерков Г. де Монассана «На воде». Бунин впервые прочитал их во время путешествия на Цейлон в 1911 году. *Бернар* — моряк, персонаж очерков «На воде».

Рассказ Бунина «Бернар» был написан в 1929 г.; в 1952 г. тяжелобольной писатель изменил и начало и конец рассказа, сделал его произведением, подводящим итоги своей писательской жизни. «Бернар» в окончательной редакции оказался, действительно, последним рассказом Бунина.

*А. Саакянц*

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Саякинц. О рассказах Ивана Бунина</i> . . . . .	3
-------------------------------------------------------	---

### РАССКАЗЫ

Антоновские яблоки . . . . .	20
Снежный бык . . . . .	39
Захар Воробьев . . . . .	43
Забота . . . . .	59
Лирник Родион . . . . .	65
Братья . . . . .	74
Грамматика любви . . . . .	103
Господин из Сан-Франциско . . . . .	115
Сны Чанга . . . . .	140
Старуха . . . . .	160
Роза Иерихона . . . . .	164
Полуночная Зарница . . . . .	166
Далекое . . . . .	171
Скарабей . . . . .	180
Надписи . . . . .	182
Темные аллеи . . . . .	189
Баллада . . . . .	195
Холодная осень . . . . .	203
Бернар . . . . .	209
Примечания . . . . .	212

БИБЛИОТЕКА НГПИ

Инв. № 226586

**Бунин И. А.**

**Б91** Рассказы. Вступит. статья и примеч. А. Саакянц.  
Илл. худ. Н. Воробьева. М., «Худож. лит.», 1976

222 с.

В сборник рассказов Ивана Алексеевича Бунина вошли наиболее известные его произведения - Антоновские яблоки, Господин из Сан-Франциско, Братья, Сыны Чанга и др.

Б  $\frac{70301-059}{028(01)-76}$  17-76

**Р1**